ШАХИМАРДЕН

Записки корреспондента „Санкт-Петербургских Ведомостей"

Жазушы



ШАХИМАРДЕН

Записки корреспондента „Санкт-Петербургских Ведомостей"

(Сюжеты для романа)



АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1992

ББК 84 Р-4
Ш 31

Ш $\frac{4702010201-046}{402(05)-92}$ 87—91 ББК 84 Р 1-4

ISBN 5-605-01230-4

Некоторые считают, что знакомство читателя с книгой начинается со вступительного слова. И от того, насколько точно, метко, образно и по существу оно прозвучит, во многом зависит судьба взаимоотношения книги с читателем. Иные же придерживаются прямо противоположного мнения, согласно которому надежда на то, что вступительное слово имеет какое-либо значение, является не чем иным, как традиционной иллюзией.

В любом случае я на стороне читателя, взявшего в руки книгу и размышляющего: перелистнуть ли несколько страниц предисловия, чтобы погрузиться в незнакомый мир писателя, или же, растягивая удовольствие, потратить несколько минут на предварительное знакомство с соображениями читателя-профессионала, сиречь — критика, касающихся места творчества автора книги в литературном процессе. Как бы он ни поступил, он — прав.

Пожалуй, одна из наиболее трудных задач, стоящих перед автором вступительного слова — высказать свое суждение не просто о книге, но более — о том литературном воздухе, в котором она зародилась и начинает жить.

Впрочем, всякий знает, что единственный способ преодоления затруднений — решить их. Так и поступим.

Итак, суждение первое. Так сказать, императивное.

Повесть, несомненно, интересна. Интересна, прежде всего, благодаря необычайной легкости, я бы даже сказал «воздушности» авторской манеры изложения, так недостающей многим произведениям наших республиканских (да и только ли республиканских?) литераторов. Шахимарден обладает своим, похоже, ни у кого из своих республиканских коллег по перу не заимствованным стилем повествования, легким, порой даже виртуозным. Да, да! Именно виртуозным, благодаря чему он свободно меняет манеру письма, насыщая лексику и стилистику речи своего героя

мелодией и обертонами, передающими как индивидуальную психологическую его характеристику, так и атмосферу времени, в котором жил герой. Существенным достоинством речевой интонации героя повести, придающей ей особую достоверность, представляется мне метко схваченная автором повести ироничная манера героя высказываться и общаться, проявляющаяся в оценках и суждениях об окружающем, в самооценках, за которыми легко угадывается личность в высшей степени неординарная, загадочная и драматичная, каковым и был Чокан Валиханов.

«Стиль — это человек»,— не без основания утверждал кто-то из французских классиков. Не потому ли наш степной Дориан Грей, вместе и ученый-подвижник, и мечущийся в сомнениях молодой офицер царской армии, проводящей целенаправленную колониальную политику (где? Да здесь же. На земле, принадлежащей его предкам, его народу — казахам), он же — султан, потомок великих казахских ханов, память о деяниях которых живет в народе, он же — легкомысленный и капризный франт и светский баловень, не чуждый новомодным радикальным идеям о политическом и социальном переустройстве российской империи на английский манер и, вместе с тем, осознающий, что переустройство, буде оно осуществлено, должно быть сообразовано с внутренними историческими традициями многочисленных народов, населяющих страну, а значит, в свою очередь, что социальные и политические институты только тогда возымеют действенность, когда они будут естественно вырастать из общественного организма, он же — подневольный инородец, вызывающий к себе плохо скрываемое недоверие властьпредержащих чиновников, он же — хитроумный лазутчик, действующий в интересах имперской России, жадно тянущейся на Восток, он же — деятельный и действительный член Императорского географического общества (что по нынешним меркам соответствует званию академика), он же — искренне сочувствующий, принимающий посильное участие в облегчении условий содержания ссыльных демократов-разночинцев, он же... Но здесь хочется заговорить о другом.

Порой за текстом повести слышишь неясный шепот, словно далекий, прошлогодний, отзвучавший дождь, уже иссякший, утративший, не донесший до нас свою влагу — лишь звуки, в которых угадываются почти неразличимые слова... Да, это он, бредущий в одиночестве и шепчущий — кому, что?...

Но выслушай и ты — ночной мой собеседник. Не твоя ли тонкая усмешка на сжатых до боли губах разливала яд по крови твоей и членам. И семя твое, отравленное сомнениями, уязвленное, пораженное, уже не могло дать, не дало всходы. Ушло, иссякло, растворилось в космосе бытия невесомыми, воздушными флюидами.

Не ты ли, отринув, исторгнув, изгнав из себя привязанность к ближнему — к народу своему, детским друзьям, братьям-соплеменникам — возлюбил дальних, возвысился, возгорелся звездой яркой, но холодной и не живой...

И все же ты жил. Упреком ли своему жестокому времени? В назидание приходящим в жизнь позже, много позже тебя?..

Не ты ли, являющийся в минуты тяжкого одиночества, поведя бровью, глазами ли подсказав, шепнув ли, дал понять мне — не потомку, но брату лишь, что жизнь твоя станет моим будущим. И ты повторишься, но, увы, не мыслями, а сомнениями, муками душевными, горечью необратимых потерь...

Но кто же он, так легко и непринужденно меняющий свой облик, неуловимый, ускользающий для взгляда, мысли?..

И вот здесь автор предлагает сыграть с ним в литературную игру, построенную на исторических документах, и ведет ее на зависть легко и непринужденно. Да так, что у читателя возникает иллюзия полной правдивости всех высказываний героя повествования. А раз так — то и желание сверить текст повести с историческими хрониками и с сочинениями самого Чокана Валиханова.

Не делай этого, любезный читатель, дабы не огорчать сердце свое. Потому как, сверив единожды, захочешь сопоставить то, что было, с тем, чего не было в действительности и что возникло в воображении писателя, который есть, если исходить из строгого соотношения достоверности жизни с жизнью в художественном произведении, не кто иной, как выдумщик и фантазер, а грубее — плут и фальсификатор. Говорил же некогда об этом досточтимый философ Платон, предлагая даже немедленного изгнания из страны поэтов и писателей, как обманщиков.

Второе суждение относится более к внелитературному аспекту чтения и касается психологии творчества. Оговорюсь, что касается это не столько психологии писательского творчества, сколько творчества читательского. Ведь книга, любое произведение искусства уже не принадлежит ее автору, а культуре, в которой все мы живем. И не важнее ли то, что оно научает свободе. Однажды (хотя бы и посредством чтения, которое тоже есть жизнь, часть ее, даже и малая) глотнув живительный воздух которой, становишься свободнее. «Над вымыслом слезами обольюсь...»— тонко подметил Пушкин. И слезы эти, и чувства, возникшие под влиянием вымысла, очищающие сердце и душу, избавляют нас от суетных забот, обращая быт в Бытие.

Не в этом ли состоит внутренний мотив свободы, родной сестры творчества?..

Не стану более докучать своими суждениями, злоупотребляя терпением читателя. Мне остается открыть занавес и уступить место на сцене героям повести.

Рустем Джангужин

СЮЖЕТ I

О предопределенности судеб и китайском боге

Суета сует и всяческая суета: живем на широкой и гладкой Руси — рвемся на Кавказ, хочется видеть Альпы и горы нужны непременно демонические. А как бросит судьба в такой край — сначала восхищаемся, потом все это начинает надоедать: и «столпообразные руины», и «звонко бегущие ручьи». Опять хочется на свободу, на дол, на ровную степь, где растет и береза белая, и родная сосна. Здесь дыхание свободнее и мысли текут шире, здесь как-то привольнее... Все безгранично: желания, дела...

Угрюмые, дикие виды гор хотя и живописны, но все же заботят, отягощают вас. То поражает великолепный водопад и сердце начинает усиленно биться, то какая-нибудь пропасть устрашит и голова начинает кружиться. Громадные скалы, ревущие реки — все сердито, во всем загадка, и вы, не желая того сами, настраиваетесь на лад какой-нибудь лихорадочной деятельности. Вам все чего-то недостает. Нет возможности жить в горах и быть народом веселым, беззаботным. Только степняк может знать цену золотой лени, только он может жить без горя, без скорби мировой, не думая о дне завтрашнем. Только степняк может быть так лукаво счастлив, отдав себя лишь наслаждению покоем.

После утомительного и жаркого дня особенно приятно в ясный вечер лежать в юрте в свободной одежде и, подняв вокруг полог для освежающего течения ветра, наслаждаться истинно степным комфортом и делать кейф.

Француз Ларошфуко воспел «усладу ленивого покоя»; идите же к нам, маркиз, вот вам под локоть атласная подушечка, и забудьте о своих Альпах, требующих бесконечно бесконечных восхождений!

В горах могут воспитываться черкесы. Они рождаются в единоборстве с природой, и каждый шаг горца есть риск. Вокруг стоят сердитые скалы, внизу пенится, ревет, ворочает камнями какой-нибудь Терек. Вот его учителя. Какие примеры! Какое хищничество в зверях и птицах гор! Тяжелый орел терзает на отвесном каменном уступе окровавленный труп лани, безжалостный ястреб нападает на зазевавшегося фазана, а гриф с душераздирающим клекотом отнимает у него добычу.

Совсем другой ландшафт, другая природа окружает степняка. Здесь воля, гармония между зверьми и птицами божьими. Широкая река или необъятное озеро тихо плескает свои светлые воды; белогрудая чайка роскошно купается в лазури небес, гуси, лебеди гордо плывут на ласковой волне; поднимет и унесет легко кречет какую-нибудь уточку, но все дружно, величаво... Никто никому не мешает. Вся степь покрыта бескрайним разнотравьем, всюду жизнь: пчелы, бабочки порхают с цветочка на цветочек... Я сам степняк и увлекся степью. Но пора обратиться к предмету.

Случай привел меня в аул семиреченского султана, и вот уже месяц я скучаю. Положительно нельзя заняться делом — не позволяет степной этикет. Ничего не поделаешь, я тоже поневоле султан. Вопрос, мучавший века арабов, «Я эмир и ты эмир, а кто будет осла погонять?», нисколько наше сословие не беспокоит. Конечно, можно восстать, но я серьезно намерен породниться с кланом султанов Старшей орды и вынужден вести себя благопристойно. Положение до того отчаянное, что хоть пиши роман. А что, господа? Надеюсь, писание будет признано за мной как более-менее праздное занятие в силу огромного снисхождения ко мне как к особе искалеченной науками и службой.

В ауле моей невесты, где я нынче пребываю, с некоторых не известных мне времен завелось семейство котов. Чрезвычайно любопытные создания. Они составляют мой ежедневный предмет наблюдений. Среди них есть рыжая кошечка с длинными ресницами. Обязательно возле нее двое ухажеров. Оба кота каждое утро отправляются в степь поискать полевых мышек, но добычу принимает она лишь у одного. Вот сегодня как раз-таки этот кот-избранник не явился со своей охоты, зато второй уже стоит тут со своей мышкой в зубах и скромно предлагает ее кошечке. Она не берет. Ходит вокруг, потягивается и все посматривает в ту сторону, куда убежал ее возлюбленный.

Проходит час, второй. Я заснул, проснувшись, увидел все ту же картину. День уже склонился к вечеру. Видимо, того кота схватили лисы, во множестве крутящиеся вокруг аула. Наблюдаю дальше. Голодная кошечка, промаявшись весь день, еще походила по аулу, ничего не выпросила у баб и, вернувшись на место с недовольной физиономией, наконец, подошла ко второму терпеливому в своей любви коту и нехотя взяла из его лапок мышку. У кота тут же хвост стал трубой. Он ликовал, она же, скушав мышку, царапнула его по мордочке и исчезла!

Эта кошечка напомнила мне одну китаянку из западной провинции Поднебесной, где мне приходилось быть по делам иностранной коллегии.

* * *

Русская фактория в Кульдже основана в 1852 году для выгод азиатской торговли. Китайцы отвели для наших строений песчаный берег Или, считая его негодным для поселений. Надо отдать должное консулу И. И., что он сумел из такой местности сделать то, что представляла уже тогда наша фактория. Она состояла из огромного каменного с мезонином консульского дома, дома для секретаря и прислуги, гостиного ряда, бани и двух казарм. Все это, возведенное китайцами, было отмечено пестротой и смешением вкусов Запада и Востока. К примеру, на крыше дома консула, выстроенного в строгом европейском стиле, сидели два страшных дракона. Впрочем, это было мило и имело свой неповторимый charme. Но главное — чистота! Дворец цзян-цзюня, местного губернатора, по сравнению с нашей обителью, являлся ничем иным как калошей. Так что мы могли быть весьма довольны нашей жизнью. Но скука в дипломатическом бастионе была страшная: представьте, что вы заключены в четырех стенах, хоть и свободны, но не можете располагать собой, некуда идти и нечем отвлечься.

Единственным занятием были переговоры с китайскими чинами, мандаринами, на которых они изрядно шумели и пили чай. А некоторые мандарины так интересовались делом, что считали за лучшее — дремать за столом заседаний. Консул строго запрещал нам их тревожить, что ж, в Китае свои понятия о вежливости.

Пожалуй, я совсем отчаялся бы от скуки, если бы не отец Ион, побочный сын митрополита А. С ним у

меня сложились сразу дружеские отношения, и мы условились, что я стану величать его просто Кит Яковлевичем, чтобы не смущать моих мусульманских ангелов-хранителей.

Кит Яковлевич, будучи уже тогда членом-корреспондентом Российской академии наук и членом Азиатского общества в Париже, предпочитал представляться заблудшим отроком сельского дьячка-чуваша и говорить на не вполне научные темы. Надо заметить, что отец Ион всю первую четверть своего архимандритства вел жизнь настолько разгульную и буйную, что родитель его вынужден был ходатайствовать об отправлении своего чада в Пекин главою миссии православной церкви, надеясь, что там он среди чужого народа не будет иметь возможности шалить. Переезд отца Иона в Китай составляет целую историю. Что стоит хотя бы его попытка перевезти в дипломатическом мешке через границу монашку, с которой он полюбил перед самым отъездом совершать некоторые интимные обряды! Китайские чины на границе самым безжалостным образом монашку изъяли, но ничего не могли поделать с жизнелюбием этого гостя в своей столице. Хотя самих китайцев не отнесешь к пуританам, отец Ион поразил их своей неуемностью.

Всем известно, чем кончилась его китайское поприще — лишением сана и ссылкой в Волоколамский монастырь. Что только не предпринимали отцы церкви, чтобы отбить у него охоту богохульничать и в слове и на деле: он не один год просидел на одном хлебе и воде, месяцами не видел ни одной души — все попусту.

Между тем, значение его научных трудов, писание которых он не оставлял и во время своего заточения, возросло настолько в Европе, что держать его далее в изоляции становилось невозможным. Однако и отступиться от него не желали. В дни нашего знакомства еще при Министерстве иностранных дел, он хлопотал о снятии с него рясы, но прокурор и Синод упорствовали бог знает отчего, чем вводили его в изумление и полную растерянность, ибо время берет свое, и, как горько он признавался мне, силы его тают и, видимо, сокрушался он, попы добьются того, что он умрет в святости.

Я не стану утверждать, что мы были неразлучны с Кит Яковлевичем, это будет по меньшей мере нескромно, но так случалось, что мы часто оказывались рядом. Както во время переговоров мандарины привезли с собой обед, который состоял из ста блюд. Привезли с собой

и повара, свидетельствуя этим, что преподношение в духе Гаргантюа исключительно свежо и цело, надеясь, и вполне обоснованно, получить за свой этот ловкий дипломатический ход вознаграждение от своего начальства.

Китайцы вообще народ оригинальных понятий. Бог знает, что составлял тот обед: поросенок занимал первое место, к нему девяносто девять приправ, затем шли каракатицы и пауки, утка, излишне усыпанная перцем и луком, и так далее. Но все это имело для меня такой неаппетитный вид, что я сказался больным и не имел удовольствия участвовать в этом застолье. Со мной ушел Кит Яковлевич, ничем не объясняя своего ухода, что являлось одной из особенностей его характера, раздражавшего не только церковников.

Мы, побродив от бани к казармам, решили выехать из города. Нет никакой возможности дышать воздухом китайских городов. Кроме пыли, ничего не вдохнешь. Для прогулки мы выбрали берег Или. Ехали мы в седлах по береговым песчаным дюнам, и только свежесть воды удерживала нас на этих песках, на которых не росло ни стебелька зелени, если не считать голых и тощих кустов какого-то колючего растения вроде чертополоха.

Затем, ниже по течению, начались илистые луга, и только мы вступили на влажный грунт, как буквально утонули в высокой траве. А далее росли камыши, в которых по уверению Кита Яковлевича укрывались тысячи фазанов. Осока, молочай, что-то вроде астры, китайская конопля, мелкий кипец и солодка покрывали землю так густо, как борода покрывает лицо самого отца Иона.

Наконец, когда мы добрались до хижин рыбаков, Кит Яковлевич распорядился устроить бивак в природной живописной беседке из развесистого джидовника и ильма. Сопровождавшие нас казаки живо принялись за дело. Устроили небольшой очаг для приятного чая, очистили траву от гнилых сучьев.

Стоявшие невдалеке от нас жилища рыбаков были сложены из сырого кирпича, и перед ними были устроены неизменные навесы. Над дверями и по бокам навесов висели камышовые шторы. Множество корзин, больших и малых, разнокалиберных, валялось всюду. Жалкая таратайка с двумя колесами довершала эту бытовую картину.

Я прилег на расстеленную специально для нас циновку и рассеянно слушал, как мой ученый спутник рассказывает о рукописи архимандрита Каменского, написанной им по пути в Пекин, и называемой самим автором незамысловато

«Мешок», ибо складывалось туда все беспорядочно, как в мешок. В этом хранилище мыслей было все.

Коллега Кита Яковлевича в досужий час перевел с китайского религиозную мистерию «Ин-Ян», что означало «Мужское и женское начало в природе». Труд сей, видимо, достоин всяческих похвал и был, надеюсь, написан самым высоким стилем, однако отец Ион предпочитал пересказывать мне его отчего-то стишками, и я, где-то между строчек «... Ин захочет, Ян и вскочит, Ин тому и рада, вот вам и отрада...» задремал, как турецкий султан на мягких диванах своего гарема, уткнувшись в мягкие формы какой-нибудь розы наслаждения. Действительно, в недолгом сне мне грезилось нечто в этом роде. Я неудачно лег плечом на то место, где под циновкой торчал из земли какой-то извилистый корень, и мне казалось, что это белоснежная рука обнявшей меня красавицы. Сквозь сон я чувствовал все усиливающийся дневной жар, а воспринимал его как ароматическое горячее дыхание моей пассии. Нечего говорить, что мне было страшно досадно, когда меня разбудили дикие крики. Вопила какая-то китаянка. В остальном все оставалось как и прежде. Казаки спали в тени, чайник кипел над костром, а отец Ион занимался своим любимым делом — скучал. Я спросил у него: отчего так озлобленно кричит эта рыбачка, но от моего вопроса Кит Яковлевич заскучал еще более и заговорил о приобретенной им когда-то у монгол скульптуре Будды, отлитой в редкостной грубочувственной позе, но: «... выражающей высокую идею вечного блаженства».

«Что есть будущее, мой юный друг? — принялся лениво просвещать меня отец Ион.— И чему оно подобно? Если настоящему, то оно не существует, ибо подобное настоящему — есть настоящее. Если прошлому, то нет и настоящего, и будущего, и самого прошлого, ибо тогда время замыкается в кольцо, не имеющее ни изначального, ни конечного, ни связующего изначальное с конечным. Согласимся с постулатом, что жизнь есть блаженство, тогда будущее и прошлое, действительно, разделимы и представляют собственно отсутствие этого состояния. Прелюбопытно, что сам Шикья-Муни считал, что блаженство есть ничто, бытие-небытие, и в объяснении этой превыспренно хитрой идеи приводил причину в наглядном примере чувственного слития мужчины и женщины. В момент исхода spermatos, впадая в prostratio, мы забываемся, но в то же время не лишаемся сознания. Это что-то безотчетное, это и есть бытие-небытие. Бог тоже по толкованию

Шикья-Муни есть Ничто, а, следовательно, prostratio. Безымянные авторы той фигуры Будды, следовательно, видели в выборе позы своего бога свою логику».

Я не мог спорить с сочинителем капитальных трудов о Востоке, хотя не могу сказать, что не знаком с проблемами spermatosa. Тем паче, что меня больше интересовало отчего так вопит та китаянка и скоро ли она закончит свои крики, чтобы можно было снова немного вздремнуть. Приглядевшись, я заметил, что рыбачка не просто кричит, а ораторствует, окружив себя дюжиной своих товарок. Вдруг она замолкла. Уснуть же снова мне не удалось.

Я все же предпочитаю быть знакомым с мыслями отца Иона по его книгам, где его собственные мысли как-то тяжелы и напоминают своими формами прагматические замечания к китайской летописи Тунцзянганьму для вещего назидания потомству. С ними можно, как с любыми научными выводами, соглашаться или не соглашаться. Живая же речь Кита Яковлевича как не была бы им облегчена и даже, как правило, составлена в комических фразах, всегда напоминала мне, как я мало образован и как по-прежнему думаю по ранжиру. Казалось бы, его шутливые рассуждения о позах Будды годны разве что для развлечения, но они привели снова меня к мысли, что я совершенно не знаком с философией религии, с теологией. Что от того, что я знаю несколько языков, если ученому рангом не ниже отца Иона следует знать не менее двух десятков? Эти неприятные выводы подняли меня с циновки, и я направился к рыбачьим хижинам, желая размять свой крайне ленивый скелет.

Около дверей одной из лачуг сидела та самая ораторша. Возле нее вертелся мальчик с плетеными рожками волос на висках. Женщина, усиленно работая руками, чинила сеть. Она не обратила никакого внимания на мой приход и не удостоила ответом подошедшего за мной отца Иона, который пожелал у ней осведомиться о чем-то на китайском, и продолжала свое дело с таким невозмутимым хладнокровием, будто бы никого рядом с ней не было. Отец Ион повторил свой вопрос и прибавил, кажется, какое-то нравоучение, что неприлично-де так встречать гостей.

Китаянка, наконец, обратилась к нам, странно замахав руками, вскочила и начала что-то кричать, употребляя с особым ударением слова «мамаде пфи!». Мы были так озадачены этой выходкой рыбачки, что, говоря по-восточному, обратили все свои упования к аллаху и терпеливо стали дожидаться, когда стихнет эта буря.

Рыбачка была весьма недурна собой и, главное, имела такие крохотные ножки, что обуянное гневом ее тело представлялось чуть ли не зависшим в воздухе, как у ангелочка. И это несоответствие так развеселило меня, что я едва сдержался от смеха.

Я решительно ничего не понимал из ее воплей, хотя по словам «мамаде пфи», значение которых мною с первого же дня знакомства с китайцами было постигнуто, догадался, что она бранит нас. Но за что? Этого я не мог представить даже при усиленном фантазировании.

Между тем, китаянка, довольная нашим смирением или своей храбростью, тем, что порядком осрамила этих русских, принялась мрачно вглядываться в дорогу, шедшую от города. Я счел возможным воспользоваться этой минутой и заметил, сколь несообразно женщине, особенно женщине древнейшего в мире государства как Срединая Империя, употреблять такое гадкое выражение. Имея в своем распоряжении также китайское слово «нюйжень» — женщина и «хао» — хорошо, я решил их расположить так, чтобы она при помощи моих объяснительных жестов и умиленного выражения лица живо постигла бы мою незатейливую мысль. Вначале, принявши гордый вид оскорбленного человека, я начал: «Нюйжень — хао...», и, помолчав для выразительности немного, прибавил: «Нюйжень — тррр... бу хау». Этим я хотел сказать: «Ты, женщина, хорошая штучка, но бранишься». За неимением связующих слов я, как мне показалось, удачно все дополнил замысловатым покручиванием пальцев. Не знаю, от нелепого сочинения моих слов или по другой причине, рыбачка разразилась таким звонким и веселым смехом и лицо осветилось таким приятным светом, что я почувствовал к ней особенное влечение, несмотря на то, что, когда она снова уселась на свою низенькую табуретку, бедра ее раскинулись, и, признаюсь, меня сильно смутили. Нижняя часть ее тела была удивительно округла и, должно быть, нежна и упруга.

Я стал подобен страдающему от жажды персу, увидевшему в чужом саду персик. В припадке нежности я совершенно забыл ее прошедшее поведение и приблизился к ней, чтобы пустить комплимент в китайском вкусе и окончательно задобрить ее в свою пользу. Но на этот раз словарь мой истощился, и я довольствовался единственным словом «хао», разумеется, произнося его очень умиленно и несчетное множество раз, да так, что пристроившийся рядом отец Ион одобрительно крякнул.

И все же, одно «хао», как ни верти, все равно остается

глупым «хао», и мне стало досадно. Хотелось как-нибудь хитро и замысловато, но вместе с тем сильно и точно доказать ей свое расположение.

«Если вы, мой юный друг,— влез в ситуацию отец Ион вкрадчивым голосом,— желаете ей намекнуть, как говорят китайцы, насчет весенних мыслей, то я умоляю вас, как доброго товарища и благородного человека, не делать этого в моем присутствии. Вы же знаете, какую я сейчас веду борьбу с соблазнами земными и как страдаю я от таких богопротивных слов, как «хао нюйжень»,— и так горько вздохнул, что мне стало действительно жаль старика. Я приостановил свои маневры и спросил его, не будет ли он смущаться духом, если я перейду только на язык жестов. Ответ его был удовлетворительным, так как жесты могут быть случайны и непреднамеренны, и могут не являться богохульством. Тем более, что он может просто при этом отвернуться и тем самым спастись.

Придя к такому согласию, я уже было приподнял руку, чтобы еще более приоткрыть тайный занавес наших с нею бесед, как явился ее муж, рыбак.

Стоит ли говорить, что сей мужик разом разрушил все мои благие намерения. Впрочем, можно было и продолжить, так как рыбак этот шел вовсе не утомленный праведным трудом, а явно из города и был отчаянно пьян. Наверное, только художник, не раз изображавший войны и сражения, мог бы изобразить сейчас лицо моей китаянки — так оно изменилось в одно мгновение. Если в Китае самый упоминаемый символ дракон, то она являла собой теперь драконшу. Муж ее имел на это другое мнение: «Баба,— бормотал он,— дрянь, я петух,— тыкал пальцем себе в грудь,— другое дело и знаю свет». Засим, нисколько не обращая внимания ни на пришедшую в ярость жену, ни на нас, далеко необычных визитеров, он рухнул на землю.

Однако, господа, что тут началось! Прелестная китаянка подняла такой отчаянный визг и с таким гневом принялась притоптывать своими крохотными ножками около поверженного Бахусом супруга, что меня охватил настоящий ужас мужчины перед остервеневшей бабой, и я поспешил ретироваться. К счастью, один из казаков успел подвести к нам оседланных коней, и мы, не медля, вскочили в седла. И вовремя. К этому времени к месту происшествия сбежались еще несколько баб и подняли такой гвалт, что конь подо мной, нисколько не принуждаемый к этому, стал пятиться назад. Я удержал его, видя, что отец Ион не спешит отъехать, а с самым глубокомысленным видом

наблюдает эту сцену, тем самым как бы и меня приглашая изучать предметно нравы местных жителей, коли я считаю себя натуралистом. Однако, при этом знавший несколько китайских языков, Кит Яковлевич и не думал мне помочь сориентироваться в происходящем. Можно было бы обратиться с просьбой к нему объяснить, что все-таки происходит и почему он так заинтересовался этой скверной сценкой, но он обязательно переврет, как давеча, цитаты из рукописи своего коллеги отца Каменского, да и привычки просить я не имел.

Сосредоточив все свое внимание на происходящем, на жестах и мимике действующих лиц, вслушиваясь в каждое знакомое и не знакомое вовсе мне слово, я кое-что стал понимать.

Прежде всего, мне сразу удалось определить, что всех этих баб объединяет какая-то общая беда, вывод, на первый взгляд, кажется не оригинальным, но учитывая непредсказуемость женских натур и полное отсутствие логики в их совместных действиях, вы меня поймете. Этому доказательством служило то, что валявшийся в отупении от винных паров рыбак бесил их всех одинаково, словно все они составляли его гарем. Это открытие позволило мне сделать вывод, что они кричат одно и тоже. От того, что часто произносилось слово «фу», стало ясно, что бабы этого рыбачьего села дружно проклинают город или горожан, затем с особенной ненавистью произносилось словечко «хэ» — пить. Все это позволило мне прийти к печальному пониманию той беды, которая так их всех растревожила. Тем более, что появившиеся через некоторое время со стороны города качающиеся фигуры остальных рыбаков сделали картину окончательно ясной. Бабы ожесточились еще более, и теперь каждая накинулась на своего мужа.

Рыбачий поселок имел несчастье быть слишком близко расположенным у городских стен, за которыми, по мыслям этих простых женщин, и вполне справедливо, цвел разврат, с каждым днем все сильнее втягивавший их мужей в свою пасть. Видно, мужья с некоторого времени пристрастились ловить рыбу не на реке, а в городских кабаках. Я не без удовольствия, обратясь к отцу Иону, сделал несколько кратких замечаний по этому поводу и предложил ему ехать прочь от этой вакханалии, так как события грозили приобрести еще более высокую температуру.

Среди орущих баб появился бохша, урядник из солонов, и принялся не менее увлеченно орать сам. Бохша был

человек, судя по платью, зажиточный и неглупый, принимая во внимание замечательную толщину его живота.

В Китае вместилищем разума признается желудок: если у вас замечательной величины брюхо, то, очевидно, по мнению китайцев, у вас замечательный ум. Это факт, в истине которого ни один житель Поднебесной, со времен династии Цинь, не смел сомневаться, да и смешно было не верить тому, что $2 \times 2 = 4$.

Появившийся местный урядник быстро разогнал баб по их лачугам и, наконец, очень гордясь своим «умом», обратил и на нас свой суровый взор. Дабы узнать степень нашей мыслительной силы, он нас осматривал не спеша и пристально, но, узрев наши поджарые фигуры, он презрительно отвернулся, из чего было ясно, что о нас, русских, он составил мнение самое невыгодное. Вообще непостижима уму самоуверенность китайца. Он никогда не похвалит то, что не китайское. Угостите его шампанским, и он от невозможности хулить сей чудесный напиток спросит вас: где вы купили их джу — рисовую водку.

Не снизойдя к нам разговором, этот бохша с солидно отвисавшим признаком своего ума, а китайцы — великие мастера, когда надо не замечать «левополых варваров», снова накинулся на жительниц поселка, воспользовавшихся паузой и опять появившихся на улице. Он сделал знак двум полицейским-солонам, и те с увесистыми палками бросились замахиваться на баб. Однако те не отступили и, построившись в каре под предводительством моей китаянки, пошли в самое настоящее наступление на представителя власти.

Видимо, поняв, что наскоками этих баб ему взять не удастся, урядник вынужден был вступить с ними в переговоры. Не так скоро, но мне удалось понять, что речь идет о том, что городские власти решили расширить какие-то укрепления своего все возрастающего города, и на этот раз жертвой такого строительства будет эта жалкая, в десяток лачуг, деревенька рыбаков.

Представьте себе, какой шум подняли эти рыбачки, когда услышали, что чудовище, поглотившее разум и силы их мужей, теперь готовится проглотить и их жилища. «Мы сами разрушим город!» — закричала предводительница рыбачек. На что бохша ответил не угрозой, а искренним удивлением тому, как можно идти против решения губернатора. Мне показалось, что он даже растерялся, бедняга. Но его конфуз продолжался недолго, тем паче, что все та же наша рыбачка выкрикнула ему в физиономию

страшную пекинскую брань: «Ван-ба-сань-сунь-цзы!!!» — что означало «ты внук черепахи в третьем колене!!!» и бросилась на него со сжатыми кулачками. Он ловко сбил ее с ног и принялся пинать. Да и солоны не дремали. Рыбачки бились отчаяннейшим образом, полагаясь только на самих себя, так как их мужья, как уже говорилось, были даже не в состоянии понять, что же происходит. Надо ли говорить, что полицейские одержали викторию.

Что бы ни происходило в этой чужой стране, мы вынуждены держаться нейтралитета, а потому, огорчившись такому ходу вещей, развернули своих коней и поехали прочь. Задержался только казак, которому следовало собрать наш бивак, но вскоре и он нас догнал.

Кони наши шли шагом, мы молчали, и казак, видимо, мучаясь тем, что увидел, задержавшись у той деревушки, заговорил, сообщив нам, что солоны, круша одну из хижин, частью крыши прибили спавшего в доме годовалого ребенка. Мы не отвечали ему.

Возвращаться в пыльный город не хотелось, и мы еще проехали вдоль реки. Отцу Иону пришла счастливая мысль совершить небольшую экскурсию по китайским садам и загородным дачам. Они тянутся верст на десять по Сары-Булаку. Это прекрасно, но начиная от угла крепости, упирающегося в поворот Или, до самых дальних садов берега реки буквально усыпаны могильниками, такими же частыми и мелкими, как оспинки у шанхайского бродяги. Надо знать величину китайских могил, чтобы вполне понять эту бесчисленность. Китайцы зарывают своих покойников в землю в особенно уродливых гробах, окрашенных большей частью в красный цвет, вырыв прежде в земле ямку не более чем мы для очага. Вкладывают туда гроб и над этой могилкой насыпают землю в виде конуса, а так как здесь песчаный грунт, то не удивительно, что эта насыпь сносится ветром, и обнаженные красные ящики торчат из земли до тех пор, пока весенним тающим снегом не размоется сам берег, и он не обрушится в поднявшуюся воду, унося с собой и этот тяжелый груз.

Не удивительно, что такой вид окончательно испортил нам прогулку, и мы вскоре повернули коней назад. Подъезжая к городским воротам, мы увидели, как к ним приближается быстро толпа баб с палками в руках, которыми они размахивали весьма усердно и зло. Это были наши рыбачки.

Караульные поспешили прикрыть ворота, но больше не от страха, а от нежелания связываться с крикливым

племенем. Это еще больше возбудило рыбачек, и они, осыпая всевозможными проклятиями город, принялись стучать палками и по глинобитным башням, и по створкам ворот. Я выразил мнение, что эти разгневанные бабы в своем мстительном порыве могут действительно так разрушить город, на что Кит Яковлевич сказал:

— Вы знаете, как называют в Китае проституток? Разрушительницами городов.

История Семи городов Западной провинции Китая уходит корнями в древнейшие времена. Еще при государе Ву-ди китайцы уже знали Западный край и насчитывали в нем до тридцати шести владений. Эти земли прежде подчинялись хуннам, пока Чжанькань или Чжань-цзянь в 140 году до Р. Х. не проник сюда. Что за народ были первоначальные обитатели этого края, мы не знаем, ибо китайская история не дает никаких данных. И отец Ион в своем «Собрании сведений о народах» не исчерпывает полностью этого вопроса. Мы знаем, что каждое владение имело своего государя, ни нравом, ни языком они не походили на хуннов и усуней, имели при этом впалые глаза, высокий нос и густую бороду, исповедовали буддийскую веру. Письмо их походило на индийское. После династии Хань Западный край то отделялся от Китая, то подчинялся ему снова. Отец Ион называет их тюрками и в «Истории династии Суй» приводит, что они употребляли тюркское письмо.

Кстати, что касается синологии, то сами китайцы не имеют лучших исследователей своих документов истории, чем отец Ион. Но, к несчастью, он имел слабость впускать в текст свои мысли и догадки, не отделяя их от китайских данных. Об этом говорил и консул.

Прошло три месяца, и к концу нашего пребывания в Кульдже осень почти утвердилась: дни стали холодные, даже при солнце нельзя было ходить без теплой одежды. Китайцы с ног до шеи оделись в овчины — на каждом из них были короткие куртки. Горы вокруг города давно уже покрылись снегом до самых подножий и белели как сахарные головки. Под ними же ежевечерне жнецы на своих полях возжигали тысячи костров, и они сияли, как плошки на казарменных столах, но и их яркие, звездоподобные вспышки вскоре перестали нас увлекать.

Переговоры с китайской торговой палатой, которым, казалось, уже не будет конца, завершились удачно, бумаги были составлены и подписаны и теперь осталось самое неприятное: приемы. Особенно настойчиво зазывал в свой

дом знакомый купчина Чжан Гу-да. И мы все вынуждены были отправиться к нему. Ехали мы весело — хорошенькие дети бегали по улицам и простодушно изъявляли свои мнения насчет нас. Мы имели редкое счастье нравиться этим наивным существам.

«Русские едут!»— кричали мальчишки, вприпрыжку сопровождая нас.

А какая-то маленькая девчушка, держа в своих руках еще более крошечную сестренку, спрашивала меня:

«Русский лоя, есть у тебя такая маленькая дочка?»

Вообще простой народ обращал на меня более внимания, благодаря чудному блеску моих эполет, в противоположность черной рясе отца Иона, с которым мы по привычке ехали рядом. Они от удивления щелкали языками и громко одобряли меня словами: «хау лоя!»

Позабавило меня и замечание одного шампаня каторжного вида, который, увидев металлические пуговицы моего фирменного сюртука, заметил своему товарищу: «Посмотри,— проговорил он, шамкая,— сколько на русском лое монет». Чтобы не уронить столь высокого мнения о себе, я принял еще более бравый вид, подбоченился этаким фертом и представлял из себя такую фигуру, или, выражаясь по-персидски — руфаяна, что — машаллах!

«Сам Гуань-лоя, по сравнению с вами, мой юный друг, ничто», — не преминул заметить отец Ион. Мы разом расхохотались и въехали в ворота купеческого хуардана.

Чжан Гу-да, хозяин, одетый по-праздничному, встретил нас у дверей и приглашал в комнаты. Однако мы решили несколько размяться в саду, тем более, что среди обихоженных деревьев стояла храмина, окруженная стеной, с воротцами, разукрашенная надписями и фигурками. Своей таинственностью она влекла к себе чрезвычайно. Мы принялись просить показать нам божницу. Хозяин неохотно согласился.

Перед храмом стояли два столба, направо, у ворот, под навесом, был выставлен на пьедестале колокол, налево — бубен. Двое слуг палочками по знаку хозяина начали бить один — в колокол, другой — в бубен, должно быть, для предупреждения богов о приходе гостей.

В самой божнице было три двери, завешанных занавесями, посреди стол с солью, чашкой, на резной полке прямо в нише сидел в широком шелковом халате бог Гуань-лоя с золотым лицом. Богом он стал после того, как прославился еще в эпоху Восьми царств, когда он в отличие от других китайских рыцарей прошлого, нападавших

ночью или из-за угла, всегда предупреждал своего противника, уведомляя его, как Святослав: «Иду на вас». Особенно в ход пошел он после воцарения в Китае маньчжурского дома. Маньчжуры, его, как своего патрона, возвели в степень императора — хуан-ди, и он есть теперь бог военных людей и защитник фанз.

У ниши Гуань-лоя стояла белая узкоглазая богиня и держала в руках своих чрезвычайно нежно меч. Там же устроился черный, как китайский кауговый сапог, божок с большими навыкате глазами и злобно улыбался, обнаруживая ряд гнилых и длинных, как у кабана, зубов. В правой руке пучеглазый фо держал алебарду, хитро раскрашенную, а левая рука его нахально уперлась в бедро. Одет он был в куртку и, вообще, был страшно дерзок. Богиня же, напротив, была вполне женственна, кроткое лицо ее хотело как бы спать, а меч, лежавший на ее руках, казалось, сильно ее тяготил. Между прочим на столе в этой храмине пристроился и любимец отца Иона бурхан Шикья-Муни. Он, нисколько не оглядываясь на боевитость своих коллег, наслаждался блудом: на коленях у него сидела женщина. Признаться, я ожидал от Кита Яковлевича его обычного балагурного комментария и готов был его поддержать шуткой или каламбуром, но отец Ион в этом вполне языческом храме повел себя на удивление сдержанно, а на приятеля своего Шикья-Муни и не взглянул.

После осмотра домашнего храма, настойчивому Гу-ду все-таки удалось затащить нас в комнаты. Он еще раз приветствовал нас, особенно при этом самым тщательным образом расспрашивал о состоянии наших желудков. Мы уселись на скамеечках за низкий столик, уставленный вазами с китайскими плодами и орехами лучи и жужубом. Какой-то малый принялся набивать трубки и, прикуривая их на огне, подносить нам с поклоном. Согласно китайскому церемониалу, мы приняли трубки и начали курить. Между тем этот же малый снял с очага медный кувшин с чаем и наполнил фарфоровые чашки душистым напитком. К чаю же принесли арбуз. Пока мы пили чай и кушали фрукты, Чжан Гу-да вступил в таинственное совещание с нашим генеральным консулом. Мы без особого любопытства ожидали окончания этих переговоров и, зная немногословность консула, могли предположить, что они окончатся скоро.

Так оно и случилось. Консул отчего-то краснел, но кивал. Затем Чжан Гу-да обратился к нам, сказав, что ему хотелось бы угостить нас не просто, а как следует. Ему

желалось, чтобы сердца наши были веселы, словом, он предлагает, как это делается у цивилизованных наций, чтобы на нашей трапезе присутствовали «разрушительницы городов». Как он уверял, это необходимо для того, чтобы у нас было более аппетита и более расположения к приятным разговорам. Принимая во внимание, что это нескрываемое желание хозяина не противоречит познавательному характеру членов нашей фактории, мы согласились, но при условии, что здесь будет только одна из них, пусть любимица хозяина. Купчина весьма обрадовался, видя такую беспредрассудность гостей. Он тут же выкрикнул несколько слов, и торчавшие в комнате лакеи забегали взад-вперед и исчезли в дверях. Прошло несколько минут, раздался звонкий смех и приятный голос, несомненно принадлежавший нежному существу. По мере того, как эти чудные звуки усиливались, Чжан Гу-да подмигивал нам все значительнее и, наконец, улыбнувшись хитро, шепнул: «Идет!» и кинулся за дверь, уже явившись снова в сопровождении китайской камелии.

Наш купчишка, хотя и был ужасным медведем, но в обращении с нюйжень показал себя истинным ши-ю (джентльменом). Он разговаривал с ней не иначе, как с тонкой улыбкой, и глаза у него при этом томно щурились, а голос делался слишком певучим.

Дама этого торговца приветствовала нас поклоном, встав на одно колено, а затем, подойдя уже ближе, принялась вопросительно озираться, делая, по-видимому, из вежливости мину, что якобы она конфузится. Чжан Гу-да, согнувшись в дугу, подскочил к ней и, указывая на свободное место за нашим столиком, что-то проворковал ей в ушко.

Чаого — Яблочко, таким оказалось имя этой сердцепохитительницы, обязанность которой заключалась в развлечении нас игрой на трехструнной лютне и в затевании игр, где проигравший обязан пить вино. Изгибаясь станом и мелко семеня крошечными ножками, она, сказав каждому из нас: «хауле!» и еще какую-то любезность, присела между нами и начала с удивительным искусством исполнять свои обязанности, разливая из чайничка вино и сама поднося чашечки с вином каждому ко рту. Выпив сама несколько глотков, она оказалась дамой весьма веселого нрава. С совершенным отсутствием несносной застенчивости, она принялась осматривать не только наши лица, но и все статьи наших костюмов, при этом болтая всякую чушь и хохоча. Мы тоже имели возможность вглядеться в любимицу хозяина. Ей, видимо, было лет двадцать, но,

несмотря на молодость, личико свое она покрыла множеством слоев грима. Признаюсь, она производила впечатление красавицы. Густые черные волосы были убраны назад и там ниспадали до пят роскошной и массивной косой. В прическу ее были искусно вплетены цветы, над которыми порхали ювелирные бабочки. Губы ее были густо намазаны помадой и краснели как коралл. Своими узенькими глазками она владела мастерски, то поднимая их к небу, то опуская к своим ножкам, которые, надо сказать, всегда были на виду. На ней была надета куртка без рукавов и воротника, на пуговицах этой куртки висел какой-то талисман и еще какие-то металлические привески, вроде зубочисток и иголок. Под курткой была шелковая рубашка, совершенно похожая покроем на верхний халат. Замечу, что вообще она была одета очень недурно, опрятно и дорого и весь вид ее подтверждал китайскую оценку: она напоминала тонкий рисовый колосок. Особенно у нее были хорошие руки, они словно были выточены великим мастером из слоновой кости. Она сама, по-видимому, прекрасно понимала это свое достоинство и занималась ими. Ногти на них были непомерно длинны и тщательно выкрашены в розовый цвет, а на мизинцах — позолочены. К довершению, надо заметить, что виски ее были украшены мушками. Налеплены они были симметрично, возможно, для красоты, но я достоверно знаю, что такие мушки прикрепляются к вискам из-за сильных, постоянных головных болей.

Единственный порок ее состоял в том, что она часто прибегала к платку и как-то особенно возилась со своим тонким носиком. Это обстоятельство заставило меня быть осторожным, и я мягко отказывался от ее внимания и не пожелал пить с ней из одной чашки. Это тут же заметил гостеприимный Чжан Гу-да и, поймав мой взгляд, грустно повел взглядом на милую ему Чаого и также грустно заметил, что она, несмотря на все счастье, которое он ей время от времени представляет, слезлива от невозможности быть с ним постоянно. Затем он, в свою очередь, достал свой платок и приложил его к своим сухим векам, а потом и к ноздрям, как бы удаляя с них слезную влагу. При этом лицо его было отчаянно горестным.

Я еще раз внимательно оглядел Чаого и, наконец, узнал ее. Я оглянулся на Кита Яковлевича и угадал, по его выражению лица, что он-то давно знает, кто сидит перед нами. Это была наша рыбачка.

Между тем, пришел какой-то разбитной господин с живыми манерами, в очках и оставшееся время говорил

много и громко, пытаясь сделать относительно нас юмористические заметки. Видно было, что это столичный франт, щеголяющий перед местной губернской сволочью. Видно было и то, что хозяин в чем-то зависел от него, что и позволяло этому типу вести себя так в его доме. Остряк уподоблял нас англичанам, которых видел в Кантоне, и сказал, что от этого у него на голове огонь. Или я неправильно понял фразу или действительно в этом «огне» есть какой-то непонятный совершенно нам смешной намек, но, сказав это, он так захохотал, что очки его сползли с носа на губы. Тогда, в свою очередь, засмеялись мы. Это несколько отрезвило непрошеного визитера, и он обиженно засопел.

Трапеза заканчивалась, наш консул встал, поблагодарил от всех нас любезного Чжан Гу-да, а развлекавшей нас особе дал серебряную плитку в 4 ф. серебром, имевшую хождение в Китае. Чаого — Яблочко с выражением живейшей благодарности начала припадать перед ним на колено, благодаря каждого из нас порознь, но представьте наше удивление, когда эта потаскушка, после какого-то колкого замечания в ее адрес от господина из Кантона, бросила серебро обратно консулу. Естественно, консул постарался не заметить такой выходки и, перешагнув через плитку серебра, направился к выходу. Разбитной господин в очках хотел было добавить что-то с ехидной улыбкой, но в этот момент отец Ион, священнослужитель и почитаемый ученый, сунул ему под нос свой огромный кулак совсем как делают мужики в ярмарочных трактирах. Кантонский франт побледнел и уже умолк окончательно.

Провожаемые смутившимся хозяином, мы вышли в сад, где я еще раз увидел надувшую свои алые губки Чаого. Она гордо отвернулась от нас, совершенно убежденная, что такие варвары, как мы, недостойны теперь ее внимания, даже несмотря на то, что наши сердца уж обязательно навечно привязаны к ее изуродованным бинтами в детстве ножкам.

Проходя мимо нее, я тихо сказал ей: «Иди подними серебро, рыбачка, и построй себе хижину. Тебе не разрушить город». Она живо обернулась ко мне; не думаю, что эта девка узнала меня, но посмотрела мне в глаза с такой ненавистью, что я оторопел. Затем, явно презрев благородный металл, бросилась из дома вон. Бегство ее, признаться, нас не расстроило, разве что хозяин наш Чжан Гу-да несколько взгрустнул и заметил обиженно: «Ничего... есть полиция и если надо, то...». Он не докончил свою речь, но

конец был ясен: бамбуковая палка вещь удивительная.

В следующий день я, наконец, слава богу, выехал в Россию с Тарбагатайским договором и знанием весьма прелюбопытного иероглифа, который теперь непременно ставлю для счастья, когда играю в карты.

СЮЖЕТ II

О хане Абулае и о духе некоего раба

Прадед мой, хан Абулай, известен в русских летописях XVIII века как царевич Сибирский, а в китайских, как Туркестанский князь. В самих же преданиях казахов образ Абулая окружен поэтическим ореолом, ибо век его ханства является веком казахского идеализированного рыцарства. Его походы, речи, подвиги служили и служат сюжетами поэм и музыкальных пьес и в то же время непонятно как, каким образом этот хан, действуя деспотически против свободных льгот кочевого демоса, освященных временем, умел облечь свои действия в такую форму, что потомки считают его святым, воплощением духов, а имя его боевым кличем.

Смутное время первых десятилетий XVIII века было ужасным в жизни казахов и оно же дало Абулаю возможность выказать свою храбрость, сметливость и ум самым блестящим образом. Джунгары, волжские калмыки, яицкие казаки, башкиры и среднеазиатцы с разных сторон то со скорой хваткой степных волков, то с персидской медлительностью теснили их улусы, отгоняли скот, уводили в плен целыми семействами. Один родоначальник, кинувшийся от отчаянья под Оренбург, сравнивал печальное положение своих братьев с судьбой сайгака, гонимого целой сворой гончих. 1723 год остался особенно памятен казахам своим роковым характером. В этот злополучный год, после зимы с бешеными ветрами и убийственной гололедицей, вторгся в Казахстан джунгарский хонтайши Галдан-Церен с несметным войском и пушками, отлитыми шведом.

Земледельческие и промышленные государства так стеснили за два минувших века кочевую степь, что счастливые переходы по ней времени Марко Поло чуть ли не из Венеции через Ходжи-тархан в Пекин канули в невозврат-

ное прошлое. Последними крупными перекочевками были исход кыргызов из Сибири в Алатау и зайсанских монгол на запад за Волгу, впрочем последние за предоставленные им земли тут же под именем калмыков, причисленные к конным полкам России, потеряли вольность. В центре Азии, как в казане, остались только два кочевых народа, составляющих несколько миллионов свободных номандов, а кочевые степи все сужались. И значит, кому-то из них суждено было исчезнуть, что и случилось в конце этого страшного века с джунгарами. Но пока они разрывали на кровавые куски все три Орды казахов. Все три казахских жуза были вполне достойны этой участи хотя бы за то, что любили обилие ханов: одного для умной речи, другого ради его необъятной фигуры, третьего так просто, чтобы третий был. Немудрено было после этого всем им разбежаться в разные стороны под натиском сплоченных свирепых джунгар. И так они бежали, что бег этот запомнился им сбитыми пятками. В это время и обращает на себя внимание молодой султан Абулай. Участвуя во всех битвах и переходах сначала как рядовой воин, затем как батыр, он показывает подвиги необычайной храбрости и хитрости. Его полезные советы и стратегические соображения устанавливают за ним имя Мудрого. Власть Абулая в Средней Орде была законна, в Младшей Орде скоро была упрочена надежно, и Большая Орда (нынче в наших бумагах уйсунские волости) признала также его властелином. Джунгарское ханство, войско которого в течение десятилетий Абулай упорно и успешно вытеснял с земель своих, уже в своей Джунгарии, попав в беспощадный капкан, исчезло.

Ушедшие на запад джунгары-калмыки хотели было вернуться в опустевшие родные края, но сгинули на когда-то свободном для них пути: в то время женщины-калмычки широко вошли в моду у воинов Абулая за покладистость и ширококостность. У самого хана из дюжины жен половину и причем любимую составляли калмычки. Яицкие казаки и башкиры, обессиленные пугачевским бунтом и вновь поставленные под казарменную руку Санкт-Петербурга, не делали более самовольных вторжений. Во враждебности к казахам оставались только буруты, отчасти среднеазиатские эмиры, стремившиеся навечно закрепить отторженные от казахских султанов города Туркестан, Сузак и Сайрам и прочие по Сырдарье.

В 1770 году Абулай напал на бурутов около реки Туро и преследовал этих горцев — каракиргизов — до

Чуйской долины. И там состоялась настолько кровавая битва, что река, у которой она произошла, с тех пор и именуется Красной, а сама битва — «джалаиловским побоищем».

И хотя все буруты в одном союзе бились против Абулая, они потерпели такое поражение, что от поколения толкан рода сулу остались только 40 человек. И снова Абулай покоренных насильно делает казахами, в Среднем жузе до сих пор живут целые рода бывших бурутов Жана-кыргыз и Кыргыз. Такова была его политика без сомнения, имперского характера, но Абулай прекрасно понимал, что времена Чингисхана и Хромого Тимура давно канули в лету, и после войны с Ташкентом и Ходжентом, в которой он проник до самого Джизака и вернул своему ханству семь городов по Сырдарье, а Ташкент заставил платить ежегодную дань, он затеял долгую и хитрую дипломатию с двумя настоящими Империями — Россией и Китаем.

В течение всей своей власти балансируя между ними, все время выдавая согласие прийти в объятия то одной Империи, то другой, он смог остаться до самой смерти вполне самостоятельным монархом. При этом он никогда не упускал случая вмешаться и во внутренние дела этих могучих соседей. Так вслед за китайской армией, устроившей настоящее истребление джунгар в своей Новой провинции — Синьцзян, влез туда и многие рода казахов расселил на опустевших землях, особенно не опасаясь об отношении к сему произволу самого Пекина.

А в русской истории Абулай известен еще и тем, что открыто поддерживал опаснейшего самозванца Пугачева. Мы знаем о двух письмах лже-Петра Третьего хану киргиз-кайсацкому Абулаю, где он за помощь ему обещал «когда он здесь всю да и Сибирскую губерню завоюет», то отдаст хану «всех сибирских дворян в подданство». Абулай же писал Пугачеву, что ходил, мол, с сорокатысячным войском к Звериногловской крепости «с таким намерением, чтоб на нее напасть и три крепости уже выжег и людей в полон набрал».

Под конец жизни он построил под свою ставку на реке Талас городок, но, оставив в нем своего сына с военным гарнизоном, а другим сыновьям, которых было семьдесят, выделив улусы во всех трех жузах, он по примеру своих дедичей удалился в Туркестан на покой.

Ни один казахский хан не имел такой неограниченной власти ни до, ни после него. Он первый предоставил своему произволу смертную казнь, что прежде произво-

дилось не иначе, как по решению народного сейма. Дед его, именовавшийся также Абулаем, был владельцем города Туркестан и происходил из младшей линии дома Чингисхана. Он также славен был воинскими доблестями, но остался в летописях с прозвищем не более как Кан-Ичер, просто Кровопийца. Сын его Уали Красивый и этой далеко не блестящей славы отца не в силах был поддержать, и один из его соседних владельцев, взяв Туркестан, зарезал его и только благодаря одному из дворцовых рабов не оборвалась родословная этих туркестанских султанов. Безымяный раб этот, высокой обязанностью которого было вносить в указанные часы в покои султана в медном кувшине теплую воду для омовения, был рабом в самом достойном смысле этого слова. Чужие воины бережливо проломили городские ворота, в торговых кварталах грабили умеренно, во дворце убивали скоро, а он шел себе спокойно размеренным шагом и нес воду. Впрочем, захватчики видели, что это раб, делающий свое дело, и не обращали на него внимания, как если бы шел осел или другое какое-нибудь полезное животное. Когда же он вышел из дворца, то снова никто не остановил его, полагая, что нет ничего удивительного в том, что в опочивальню султана вошел раб с кувшином, вышел опять же раб с кувшином. Так на спине раба под его мешковатым халатом выехал из своего потерянного города в пустыню Мойынкум юный султан Абилмансур, чтобы стать когда-то белобородым ханом Абулаем.

Вот такова была эта личность. Каков герой! Если и писать роман, то о нем. А вот и начало героической драмы: раб спасает своего господина...

* * *

«... и когда губы забыли свежесть влаги и ноги застыли от сгустившейся в жилах крови, и в кувшине не осталось воды для спасения, и разум просветлел от близости смерти в пустынях, лишенный трона царевич воскликнул, простирая к небу тонкие руки: «Гибель моя — то милость Господа. Он дает ее кому хочет!»

И тогда встал над коленопреклонившей августейшей особой раб его и воскликнул: «Ты, венценосный отрок, произнес слова Пророка, я ждал их, чтобы по воле Всевышнего раскрыться наконец перед тобой. Я не раб, а имя мое — Абу-л-Фатах, прежде торговец, но не прибыли ради, а ради святого дела платить как можно больший

зекат и тем обрести большую заслугу перед аллахом.

Во время своих купеческих странствий я щедро раздавал милостыню и насыщал хлебом и питьем неимущих. В кратковременные часы отдыха в своем доме я каждый вечер читал Коран, пять раз совершал омовение и при каждом из тридцати двух коленопреклонений я в молитве читал суру «Йасин» и однажды почувствовал святость и ночью во сне имел откровение перед Пророком, который сказал мне: «Теперь настало время испытаний. Отправляйся в страну тюрков и, преодолевая в себе гордыню и влечения к приятностям, стань рабом тому, чье имя будет произнесено». Я в ту же счастливую ночь отправился в тот край, указанный мне, и провел шесть лет в воздержании и умерщвлении тела. И однажды вновь увидел Пророка во сне. «Восстань,— сказал мне Посланник Аллаха.— Он родился, иди и ищи. Имя его Абу-л-ай». Радость охватила меня, и с тех пор я со священным трепетом служу и следую за тобой. Теперь же мне осталось выполнить свой последний долг. Я сейчас умру, забросай же тело мое камнями и песком и жди».

И ходжа-раб лег на песок и тихо почил. Абулай, как и велено было ему, забросал тело отошедшего камнями и песком, и вдруг из его преданного земле праха выросло дерево, с ветвями, провисавшими от спелых и сочных плодов. Отведал их Абулай, и разум его вернулся к заботам земным, и кровь вернулась из одеревеневших ног в сердце, и необыкновенная свежесть наполнила его. И встал он тогда и совершил...»

«... совершил...», — записал писарь последнее слово в главе первой жизнеописания властелина ханства Казахского, государя белого и великого Абулая Мудрого и долго еще прислушивался к замолкшему хану, не отводя благоговейно от уст его огромное ухо, а перо от терпеливой бумаги, мысленно повторив свое обычное: «Ври дальше, старый дурак!»

Однако Абулай еще долго неподвижно молчал, затем встал со своей обитой китайской тканью величественной софы с турецкими подушечками и, по-старчески кряхтя, прошаркал к писарю, взял его вздрагивающее и услужливое ухо железными пальцами и плюнул в слуховую дыру, а мочку и козелок, плотно смяв, вогнал вслед.

Не бывало никогда ходжи Абу-л-Фатаха, посланника Пророка. Существовал когда-то просто раб мужского пола, лет — средних. Его и вспомнил сейчас впервые за полвека хан, вернувший себе наследный родовой Туркестан,

из которого пятьдесят лет назад бежал тринадцатилетним через пески Мойынкумы к родичу своему Абулмамет-хану с единственным кувшином воды, навешанным на шею тяглового раба. Он явно неудачно выбрал раба в бегство, с ним было хлопотно, и хотя невольник был достаточно силен и большую часть пути пронес его на спине, однако много пил, и на последнем ночлеге обнаружилось, что воды в кувшине осталось всего ничего. Тогда Абулай велел рабу лечь в песок и зарезать себя, что раб, кривя ртом и подвывая, не сделал. Пришлось самому исполнить сие. Можно было бы просто прогнать его в пески, но зачем же зря заставлять мучиться животину? Изнуренный жаждой, Абулай, однако, после этого не поспешил допить оставшуюся воду, а поволок глиняный сосуд дальше за собой и через час увидел, что почти вышел к реке, неглубокой, но и не засоленной. Абулай сел у мелкой волны, хотел было зачерпнуть из нее ладонью, но вдруг передумал и допил ту тухлую водицу, которая еще плескалась мутно на дне кувшина. Ровно девять глотков.

Отца, Уали-султана, и ту женщину, родившую его, мальчик видел. Об этом ему иногда говорила ужасная старуха с титулом редким — Его Бабушка.

Старая карга пребольно щипалась, ловко, не увернешься. Из всех учителей наследника она отдавала предпочтение математику с его дурацкой пирамидой. Сам мугалим никаких толкований этой штуке не давал, а вот Его Бабушка не оставляла пирамиду в покое. Как только она ни вертела ее! Тыкала пальцем в вершину и уверяла, что это пик горы Казыкурт, на которой после потопа сохранил себя Ной с ковчегом, или указывала на квадратное копытце этой геометрической фигуры и твердила малышу: вот видишь, с этой плоскости начинается жизнь и суть ее начала — удивление явившегося в этот мир всем его четырем углам. Это место для рабов, они не знают никакого иного чувства, кроме удивления, и высшая точка волнения для них опять же удивление, приносящее им и слезы и смех. Тут же она незаметным кивком вызывала огнеглотателя, и когда мальчик в удивлении замирал, увидев вырвавшееся пламя из рта безбородого болвана, тут же следовал щипок до синяка. Затем снова показывалось маленькому Абулаю нечто поразительное, но мальчик знал уже, что последует щипок, и чтобы успеть радостно удивиться, отскакивал от старухи, но Его Бабушка ловко и длинно выкидывала вперед босую сухую ногу и жестоко щипала его пальцами стопы. Так она отучивала его удивляться, и наследник

сделал первый шаг, поднявшись над плоскостью рабов. Затем пошли другие возвышающиеся к острию пирамиды человеческие чувства, через которые он должен был перешагнуть, дабы иметь дух возвышеннейший, дабы свершить то великое, что вписано в книгу судеб Всевышним и подправлено по своему вкусу Его Бабушкой.

Вот до уроков родственной любви она его не успела довести, умерла во время месяца поста Рамазана, а через неделю после ее смерти Туркестан и был взят эмиром-соседом. Так что пришлось Абулаю через этот срез перебираться самому. Став сиротой, он не нашел тепла знатных родных за горячими песками Мойынкумов, и, отчаянно голодая, пошел в услужение к какому-то глупому до животного состояния баю. Но гадкая баба этого богатея и не думала его кормить, не позволяла из своей посуды даже выпить сырой воды, а из юрты гнала, не разрешая пригреться и у порога. Тогда он научился есть корни трав, пить туман и как кони, к коим был приставлен, спать стоя. Что ж после этого удивительного в том, что еще юным безызвестным воином на краденном у этого дурака бая коне он поражал всех в походах безразличием к еде и открытыми глазами во все часы суток. Он выжил, и дальше бабкину пирамиду он усвоил легко и равнодушно. Что чувства потери, обездоленности, мести, власти, да и страстной любви и отцовства тоже, если где-то уже у вершины прожитой им жизни даже лесть не подогнула его под себя! И над ней он встал, как и над другими невольно пройденными им ступенями: и простолюдина, и батыра, и бека, и избранного единогласно всем народом хана.

Как-то любимец его, бард Бухари-жырау назвал его великодушнейшим государем среди всех великодушных, уговаривая не губить аулы строптивого владельца Эрдэнэ-батыра во страшном гневе своем, и он разорил людей Эрдэнэ без гнева. А ведь этот вольный стихоплет иногда умел уболтать его. Как хохотал однажды хан после какого-то неудачного столкновения с китайцами, у которых после гибели джунгар разгорелся аппетит и на казахов! Тогда на позорном привале от скорого отступления Бухари долго и нагло наигрывал на одной струне домбры китайскую мелодию, и, когда же Абулай поднял над ним плетку, запел:

О хан мой, Абулай, широкий станом,
Атакою своей китайцы неучтиво
Лишь оттянули лука твоего тетиву,

Что гибок как хребет кулана.
Нет, хан мой не бежал, нет, не пришлось
узнать ему подобное словечко,
Затаптывая за человеком человечка,
в азарте он передвигался просто вкось!

Престарелый хан хотел было просмотреть последнюю запись, сделанную писарем, чтобы восстановить в памяти, о чем же он вот-вот наконец-то вспомнил... Или о ком? Но писаря уже как спеленатого младенца вынесли вон с его свернутым ухом и бумагами.

Он хотел вспомнить! — это совершенно известно.

Но тут же хана всего, от выбритого черепа до мозолистых пяток, протянуло болезненной тревогой, занывшей как неимоверно многолетняя боль в мелкой косточке, о которой он никогда не подозревал, хотя, возможно, которой и никогда не существовало в теле.

Все чувства испытал и презрел седобородый хан в своей день ото дня только все возвышавшейся, как пирамида Его Бабушки, жизни, кроме этой неведомой ему никогда прежде болезненной тревоги, только она, кажется, принялась глумиться над его душой. А мужественная душа хана была, естественно, очень неопытна в таких делах и смутилась до отчаяния. Да и разум не мог найти возникшему неприятному чувству объяснения. Ведь ничего сейчас не могло обеспокоить сильного хана. Все он устроил в своем государстве, даже своих жен, как возможно было подальше от себя. И сибирские наместники Екатерины II отказали мятежным султанам в жалобах на него как на похитителя власти, и Император Поднебесной вернул со знаками его власти сына с посольством, и афганский шах, слава аллаху, отказавшись от своей миссии исламского освободителя, полез за алмазами в Индию и там застрял. Что же еще? Ничего, вздор. И тревога его эта пустяшна, как сквозняк. Стоит только плотнее прижать двери. Он прошелся проверить. Нет, не дуло. Тогда он решил, что все это ему мерещится от мышиного шуршания его парчового халата. Всю свою жизнь он отдавал предпочтение сукну из верблюжьей шерсти, и вот надо же, вздумал облачиться под конец соответственно своему венценосному сану! Абулай скинул с себя парчу и вернулся на мягкую убаюкивающую софу, а вот покой не поспешил за ним. Тогда он вскрикнул и велел набросить на шелковое ложе пропитанную конским потом попону. Опять прилег, и опять тревога не исчезла. Больше того, боль, ему казалось, грудной

косточки, усилилась до того, что даже терпкая вонь любимого коня не отрезвила его от этой никчемности душевных треволнений.

Хан Абулай никогда не занимался всякими там воспоминаниями своей жизни, но держал свою память, как все же нужный на всякий случай боевой заряд, в полной сохранности. И сейчас под вдруг навалившейся на него безжалостной немощью он решил кое-что вспомнить, но память в нем, как сухой порох, вспыхнула разом и осветила слепящей вспышкой всю его пирамиду жизни изнутри. В ней, как в китайском фонарике, задвигались какие-то силуэты людей, животных, строений, они множились, и сцена сменяла сцену с калейдоскопической быстротой. Ничего нельзя было разобрать и понять, но одно совершенно четко увидел хан: его пирамида жизни, которую он, казалось бы, завершил полностью до конца и этим возвысился над всеми смертными, оказалась усеченной.

Но все что ни происходит, решил хан, к лучшему. Мысль не новая, но верная. И он сказал: «И это мое!», тем самым покоряя в себе последнее еще не подвластное ему человеческое чувство — чувство болезненной тревоги.

Ноющая где-то в груди неведомая косточка и должна была занять собой вершину его легендарной пирамиды, но этого не произошло. И понятно — прежде чем стать хозяином того или иного чувства в себе, по меньшей мере надо знать, отчего оно возникло в тебе. А хан в этом своем, казалось бы, последнем ходе оказался бессилен.

Он так и не мог понять, отчего в нем эта мучительнейшая тревога. Ведь, как уже думалось, все у него ладно!

Хан застонал.

Вот так в первый и последний раз он стонал в пору первой зрелости, когда он еще в звании батыра зарубил в бою наследника джунгарского престола и был после небывалого давления выдан благоразумными султанами и ханами Галден-Церену. Нет, не предательство опять же кровных родичей вызвало в нем те стоны, а глаза матери убитого им принца. Его каждый день с восходом солнца до заката выводили из зиндана и ставили перед черноволосой женщиной. И она так же с самого восхода солнца до заката, не отрывая глаз, молча смотрела на убийцу ее единственного сына. И все. Ни угроз, ни пыток. Во взгляде этой бабы не было ни злобы, ни презрения, ни проклятия. В первые дни это вызвало в юном батыре усмешку, сменившуюся затем раздражением. Он перестал

улыбаться и принялся кричать и оскорблять ее. Затем он затих снова, стал думать. Ничего не придумал, только теперь делал все, чтобы охране не удавалось вывести его из подземелья, рвал жилы зубами на своих руках, бился головой о каменный пол, но его все равно выволакивали к той, под чьим взглядом больной колдуньи против воли его и разума все время хотелось стать меньше ростом. И как бы он ни противился этому, с каждым часом он становился все меньше и меньше и уже почти превратился в карлика, а сердце его оставалось крупным как прежде. Ребра его стали сдавливать сердце, но оно по-прежнему билось сочно, резко, а ссуживающиеся безжалостно обручи ребер давили, давили, сердце пыталось протиснуться на волю через гортань, но и глотка Абулая сузилась, как жесткая соломинка... И такая боль, такой ужас охватил тогда Абулая, что он застонал.

Наверное, он сошел бы с ума, если бы не задвигались вокруг его восходившей фигуры дипломаты тех двух Империй, между которыми потом ему суждено будет балансировать как на канате, и Галден-Церена с предельной неохотой отступился от него, отпустив скрытно на волю.

Абулай с головой укутался в потрепанную попону и в тот день и на следующий и еще семь дней не вставал.

Он стал болен.

Нет, Абулай не лежал беспомощно, питаясь запахами попоны, хранившей в себе бег жеребца, пыльные смерчи и истошные боевые кличи, он все-таки в ночь после девятого дня встал. В ту же ночь вновь бежал из Туркестана, не выбирая пути, через пески Мойынкумов к той самой реке Тала и лег изнуренно Ставкой на ее берегу.

Естественно, такой исход смутил всех, никто не знал причин. Ждали скорой войны, набегов, ждали, ждали, нет, не случилось. Принялись ждать конца света, но это оказалось очень долго и главное совсем страшно. Как же так?! Было все хорошо: смирный скот стоял над пастбищами, народ мирно пас скот, над народом стоял давший ему мир пастырь. Лучше бы этот патриарх свято скончался, чем бежал от них, думали люди. Выбрали бы другого хана. Хотя... Если до Абулая было три хана, то уж после него будет девять и еще парочке самозванцев место останется. И такая неразбериха опять пойдет... которую, говорят, в одной древней и давно изчезнувшей богопротивной стране называли демократией.

Хотя бы поговорил он с ними, с верными подданными, или приказ какой-нибудь дал, что ли..., а потом уж валялся

бы там себе в удовольствие... Но проходили недели за неделями и никто не был ни призван, ни допущен в новую Ханскую Ставку. Наконец народ, пришедший в окончательное смятение от страха и разнодумья, так отчаялся, что, вытолкав вперед с десяток беков, биев и султанов, пробился без высочайшего позволения дерзко в его отшельническую обитель с единственной целью: просить его воротиться паки взять свои государства на всех условиях — если есть изменники и ослушники, то на них опалы класть, а иных и казнить, имущества их брать в казну и чтобы никто ему в том не мешал.

Притащились с дрожащими коленками и увидели хана своего одряхлевшим и измученным духом донельзя и поняли, что приди они к нему часом позже, случилась бы такая беда... Такая беда! И что уж совсем страшно, никто не в силах был догадаться, какая беда. Правда, кто-то сказал: да не будет никакой беды. Тут его чуть было не разорвали, но он успел отговориться: я, мол, имел в виду, что такая беда, какой и быть даже не может! Ладно, вырвали ему ус и отпустили, а вельмож своих затолкали дальше в трехшатерную юрту хана.

Абулай немо оглядел ввалившихся к нему степных сановников, не узнавая никого и не понимая зачем они здесь. Особенно непонятен был ему ритуал загибания пальцев, словно его куда-то поднимали: ты, хан, повел народ за собой, ты дал ему радость, вознося тебя, он гордится тобой, ты дозволил народу кормиться под своею дланью, теперь, слава аллаху, в ось государства вставлено тобой последнее четвертое колесо, ты дал нам страх лишиться тебя. Ты как всегда оказался мудрее всех, ты прав один, но дозволь хотя бы издали иногда зрить тебя, а то от того, что границы замирены, мы, не занятые ратными делами и скорбными заботами, от невольного дикого вольнодумства, что заводится как червь в стоячей воде, еще натворим, накуролесим, набедокурим бог знает что! Ответа не последовало.

Султаны, беки, бии, не смея оглядеться, все же переглядывались, от молчания хана затрепетали еще сильнее и чернее. Они поняли, что попали в самое скверное положение, которое могло с ними случиться, уклонение от них хана мгновенно превратилось в невозможность теперь им уклониться от него. Ну чего они притащились, кто их звал, кто требовал их?! Мало ли народ толкал, всегда можно при желании и уме самим растолкать эту толпу. Сидели бы в своих юртах да чаи гоняли. А теперь? Хан

не слышит их, но видит. Не понимает, но слышит. Не видит, но все понимает!

Неведомо как они догадались, а впрочем, им не оставалось другого выхода, и они, чтобы хоть как-то перескочить через разверзнувшуюся под ними пропасть, прибегнули к старой степной хитрости. Вот как бы ехали по делам своим, но мимо проехать не могли, убоявшись этим оскорбить встречное кочевье. Расчет был верен, будь Абулай хоть трижды хан, трижды велик, трижды грозен, но древние традиции никто еще не мог полностью смести. Гостей не убивают. Так что им ничего от него не надо, они пришли без всякой прямой или задней мысли и в минуту эту, перед тем как двинуться, поблагодарив за гостеприимство, дальше ведут обязательные в степи беседы о том о сем.

«Да... — протянул срывающимся голосом один из биев, как бы продолжая естественную паузу, а не ту жуткую немоту. — Не стало достойных внимания новостей. Что сегодняшние наши заботы, по сравнению с теми временами, когда гибнул в крови наш народ, и по велению божьему и по зову своей благородной печени, оставив тепло и прочность родительских стен, выехал из Туркестана благороднейший султан Абулай, чтобы стать над нами ханом и этим спасти нас. А чтобы враги от страха не поспешили довершить свои злые дела и скрыться, выехал он тайно и лишь в сопровождении своего дядюшки Ураза. И по тем же причинам он решил некоторое время пожить под видом табунщика у бая караульского рода Даулетбая и приглядеться к тому, что и как сложилось во всех несчастных трех жузах. И вот баба Даулетбая вскоре заметила, что молодой табунщик никогда не просит пищи, пока она сама не подаст, и что даже тогда берет не охотно, а из неополощенных при нем же чашек не пьет совершенно. Никогда, даже если очень усталый, не садится как прочие работники на голую землю, а с солнцем заговаривает как с товарищем, а с месяцем, как со слугою. И поспешила она это сказать своему мужу. Взглянул Даулетбай на пришлого юношу и сам не зная почему, тут же подарил ему лучшего коня из табуна знаменитого Чалкуйрука, чей хвост как пламя. На нем в час нужный и отбыл молодой султан к дяде своему хану Абулмамету, который ждал его нетерпеливо, как спасение, и на нем же составил первое звание свое батыра и уважение всех казахов». «Истинно так!» — вздохнули с облегчением остальные,

закивали бородками, уже удобнее усаживаясь в седла внимания в караване разговора.

Абулай же так и не понял, кто же это такие и зачем они так громко говорят, весь окостеневший от так и не стихнувшей в нем тревоги.

Хотя скала молчания хана и продолжала нависать над вельможами, но уже появилась надежда у них потихонечку пятясь назад выбраться из-под нее. Второй оратор, принявшийся дальше убаюкивать льва, начал проникновенней и тоньше.

Глубокомысленно вздохнув, он изрек: «Да, каково светило, таковы и звезды вокруг него,— и как бы желая указать на звезды, пришедшие к светилу и при этом как бы сам не претендуя на место в столь великолепной плеяде, он скромно отступил за их спины,— скажу вам я, высокочтимые, о Бухари, истинном барде и преданнейшем слуге и соратнике нашего великого властелина. Раз направил Абулай-хан воинов своих пресечь проступки заносчивого Эрденэ-батыра и в гневе на него так был недоступен, что никто не мог решиться высказать словечко в пользу обреченного виновника. Тогда по просьбе народа Бухари-жырау явился перед очами Абулая Мудрого и затрубил так: «О, Абулай, Абулай! Подобно ари и гури — сферам абсолютного пространства, возносится за седьмое небо и соперничает с ним твое великодушие. Не помещаются в пяти вратах добродетели толпы рабов твоих — отпущеников, не пустеют все дороги великодушия от прощенных пленников твоих. Перейди, если это так важно, хребет Алатау, но там потуши гнев свой. Если потушишь, то не придет ли с восемьюдесятью тюками даров Эрденэ называемый, твой пестрохалатный раб сам». «Это твоя единственная просьба, Бухари-певец?» — спросил его тогда раздосадованный помехой хан и услышал почтенное подтверждение. Перешел Абулай-хан Алатау, потушил в снегах гор гнев свой и тут же радостный Эрденэ поспешил лечь перед ним. «Я прощаю тебя,— произнес Абулай-хан,— но разорю во всем моем страшном гневе людей твоих со всем скотом и семьями, ибо о них никто меня не просил!» Услышал это, Бухари-жырау заплакал, не смея больше раскрыть уста. Но Абулай-хан посмотрел округ на поникших головами людей и воскликнул одно: «Прощаю и вас, но гнев мой носите на затылках своих, и не идите более за такими, как этот лежавший в пыли прохвост!» Так неимоверно милостив был и есть наш хан».

«А вот что ответил, высокочтимые,— подхватил сеть

словоблудия третий посланец народа, но уверенней и даже как-то задиристей, считая, видимо, себя уже почти праздным собеседником хана,— Бухари-жырау в песне своей, когда светлейший Абулай забеспокоился о судьбе своих двух батыров, ушедших в походе вперед для разведывания джунгар: «Джанатай-батыр пройдет через Талкын, батыр Богембай, как гордый акын, путь только свой изберет, за Кульджаном улусы пройдет и тот край для тебя оторвет и в придачу тебе, Абулай, привезет чужестранную птицу — белолицую девицу». «Я рад за Богембая так,— воскликнул тогда Абулай,— что темя мое от радости задевает небо. Но пусть оставит девицу себе, если батыр мой Джанатай один остался, у крепости Талкын проходы тесны и опасны: скачем же на Талкын!»

Что говорить, никогда и ни за что не бросал соратников своих наш хан. Мы за ним как за каменной стеной!»

За этим достойным вполне откровением следовало султанам, бекам и биям еще кое о чем легко посудачить и какой-нибудь фразой перейти к благодарностям за прием да откланяться, но вот четвертый гость, вспотев обильно от тяжелого напряжения своей мозговой массы, с первых же слов сбился, не нашелся и вновь стал упоминать имя Абулая прямо: «... проклятый Галдан-Церен, узнав о смерти своего любимого сына, приказал схватить виновника, кем бы он ни был и где бы он не находился. Сто девять походов совершили калмыки и только на сто десятом удалось им наскочить на батыра Абулая, спавшего в горах после удачной охоты. Так спящего они его и схватили. Схватили и привели к Галдан-Церену. И на вопрос:— как смел ты убить сына моего?— Абулай отвечал: «Обвинение пало на меня, а убит он был народом, через меня только исполнилась воля моего народа над сыном твоим Чарчем». Галдан был так доволен этим ответом, что несколько раз повторил лишь: «Мон, мон», и велел с почетом отпустить Абулая».

Ничего не понял Абулай в речи этой толпы, только слышал «бу-бу-бу-бу» и, не видя их четко сквозь застилавшие его глаза слезы, он мертвой хваткой балхашского тигра, уловив запах человечины ноздрями, цепко схватил ближайщего к нему посланника за бобровый воротник и закричал: «Болтать?! Вздернуть его, дурака потливого!» Отправленный в петлю простейшим жестом бек хотел было отговориться, в отчаянии заорать: «Не я, я не болтал! Я как раз-таки не сказал ни слова!», однако то, что и он вспотел ужасно, так спутало его сознание виной и с его стороны,

что через несколько минут он висел на перекладине меж четырех горбов пары бактрианов, смотревших на него с природным презрением, что всегда дополняло высокое достоинство этих животных.

Изгнав незваных гостей, Абулай вдруг с облегчением вздохнул.

Вздохнув, поднялся, прошелся, задержал дыхание, повертел с хрустом в затылке головой, задержал дыхание и еще несколько раз выдохнул зацветший воздух своего дыхала. Левой рукой он с силой потолкал свою грудь, а правую сжал в кулак, и ему показалось, что еще чуть-чуть и он схватит въевшуюся в него тревогу под уздцы и выдерет боль эту, наконец, из себя. Однако он снова не смог вспомнить, как и последнюю фразу, продиктованную им писарю, с чем же связана эта уверенность в скором избавлении. Что-то очень важное произошло вот-вот только.

Хан вызвал цирюльника, предполагая, что свежевыбритая голова сообразит скорее, но нет, она не отозвалась на заботу о ней, зато все хорошо помнил брадобрей. Абулай тут же велел определить и привести к себе всех султанов, беков и биев, бывших утром у него. Они явились, но теперь не раскрывали рта, словно дали обет молчания на святой книге. Тогда хан начал прямо допрос, те принялись клятвенно отнекиваться, но постепенно выяснилось, что «да», кто-то все же говорил что-то, но, к сожалению, скоропостижно умер, а они ну совсем ничего не помнят.

«Я объявляю, что тот, кто говорил мне то, что я хочу услышать — жив и к вечерней молитве пусть придет и скажет»,— мягко не согласился с ними Абулай. Сановники вышли от него вновь опечаленные и бродили по Ставке как связанные овцы. Пока не наткнулись на Бухари-жырау. Стихач и балалайщик лежал пьяный бузой в юрте у поваров и долго, сочувствуя, не мог понять, отчего так горько рыдает у его плеча степное барство, и время от времени тоже жалостливо всхлипывал вместе с ними. Постепенно, отпаивая любимца хана крепкой сурпой, заправленной кислым творогом, они смогли поднять Бухари. «Так, значит, я тот повешенный бедняга?»

«Ага, ага,— закивали бары, затем смутились.— Не иди к нему, уважаемый Баке, вздернет. Что-то с ним не то».— Любили все-таки, надо признать, этого певца казахи. «Прежде чем вздернуть,— отвечал им Бухари,— меня надо поймать, а поймать меня можно только за язык, а язык мой как вон та птица в небе». «Где, где? Не видим...»

«То-то!» — заключил Бухари, ополоснул свежей водой руки, заушья, лоб и губы и, гулко растревожив домбру и этим провозглашая себе минуту без слов, двинулся к хану и, переступая порог трехшатерного убежища, запел такие строки:

О-о, хан мой Абулай!
на коновязи ты держал одних коней мухортых
и скачками решал все споры и раздоры.
На то была и есть народа воля,
коль скоро скакунов ты услаждал зерном без сора.

Не в силах тысяча верблюдов перевезти твое добро,
оружие в чехлах, монеты, перстни и тюки ковров.
На то была и есть народа воля,
коль при тебе тут каждый находил еду и кров.

В сабе с серебряной оправой ты держал кумыс,
не опрокидывал фарфоровые чаши горловиной вниз.
На то была и есть народа воля,
коль даже с перцем и изюмом подают твой жирный рис.

Держал твою секиру над куполом высоким Ставки
Твой ангел счастья законности во имя и порядка.
На то была и есть народа воля,
коль трон твой украшают золотые с письменами главки.

Князей джунгарских Эренчи, Галдан-Церена
пригнул к земле ты, перерубил на шеях вены.
На то была и есть народа воля,
коль к стенам крепостным округ воздвиг свои ты стены.

Ты в праведности шах Хосров, ты ат Та'и, своим судом
безгрешно ты казнил всегда и всюду как Али мечом.
На то была и есть народа воля...

— Так! — все-все вспомнив, воскликнул хан Абулай и сунул в рот Бухари-жырау алую жемчужину с перепелиное яйцо. — А теперь ступай. И скажи от меня, всем уйти, быть здесь только писарю.

Тут же все покинули его Ставку в Мойынкумах, правда, писаря не оставили, сообщив хану, что писарь, обкурившись маком, засунул ухо свое гнилое в слуховую дыру, отчего и умер от загнивания мозгов.

И наступил час, когда хан Абулай, спокойный и удовлетворенный, прежний, вошел в пески, где когда-то зарезал

своего первого человека, и крикнул: «Эй, раб! Ты слышишь! Не я тебя убил, через меня исполнилась тогда неутомимая воля моего народа».

«Слышу,— отвечал дух, поднявшийся из земного праха.— Народа воля твоего. Но при чем здесь те девять глотков воды?»

Хан ему не ответил, прислушался к себе, но в нем вопрос духа никак не отозвался. Им покорены все челове ческие чувства и он, наконец, встал полностью над челове ком.

«Я все-таки...»— начал было хан. Но дух перебил его: «Как же! Жди! Ишь, как разлетелся...» «Ты что думаешь...» И снова дух не дослушал его и очень грубо ответил: «Нет»

Значит, и этим его пирамида не завершилась, но что собой тогда представляет последний камешек? А вдруг еще одно такое же мучительное для него новое чувство?!

«Ты не знаешь?» — спросил Абулай духа. Дух хмыкнул и ушел в песок.

«Тьфу,— сплюнул хан.— Умру и сам узнаю»,— и, развернувшись, пошел крепко прочь по песку и глине человечьей.

СЮЖЕТ III

Об озере и о любви

Восемнадцатого апреля 1856 года по Копальскому тракту мы направлялись на Аягуз. Дорога шла через казачьи пикеты и лежала в солонцеватой степи. Из всех станиц казахской степи Старая Аягузка, кажется, самая невзрачная на вид. Маленькая крепость, формштадт, где несколько деревянных домов, мечеть в татарской слободке и землянки. Признайтесь, панорама унылая. Но по самой реке Аягуз жизнь словно вырвалась из-под сухой, пыльной корки земли, разлилась светлым ковром зелени, заговорила, запела в теплом небе жаворонками. Листья на карагаче, дикой акации и тальнике были уже распущены, да и самое солнце грело более южным жаром. Берега реки, густо окаймленные кустами жимолости, таволги и черемухи, между которыми высоко возвышались тополя, производили чрезвычайно приятное впечатление после трехдневной езды по солонцам, где не было ничего, кроме белых кочек чия. Недаром в преданиях казахов так поэтично воспевается

благословенное течение Аягуза. При пустынности и безводности окружающего пространства, Аягуз действительно может казаться раем. Левый, возвышенный берег, покрытый лугами и лощинами с сочной травой, был, нет сомнения, местом постоянной кочевки в оны дни, когда не было здесь военных пикетов. Теперь казахских аулов здесь нет. Вообще, чувство самосохранения — есть чувство похвальное, но не думаю, что окончательной откочевкой можно решить национальные проблемы.

Я очень люблю и восхищаюсь Аягузом. Может быть, поэтическая легенда о любви прекрасной Баян к золотоволосому Козы-Корпешу, возникшая из драмы, развернувшейся именно на этой реке, есть немаловажная тому причина. Я знал, что в десяти верстах от нашего последнего привала стоит знаменитый мавзолей Козы-Корпеш и Баян-Слу, сложенный из грубого степного камня и посему, несмотря на то, что выехали глубокой ночью, хотелось взглянуть на этот славный памятник. Конечно же, ямщику было приказано ехать так, чтобы утром при восходе солнца, когда жаворонок поет свою первую песню, когда с одной стороны мрак и ночные тучи уходят на запад, а с другой восстает утреннее солнце и свет с надеждой освещает верхи дерев и воду каким-то чудным лучом, быть у мавзолея. Хотелось в этот лирический час у самого надгробья напиться чаю: приятно в дороге пить чай и, особенно, на развалинах древних могил. На этих камнях яснее всего осознаешь, что эта земля — твой родной дом, а сами камни — есть очаг, в котором многие века пылали и сгорали жизни всех твоих предков, предстающих в такие минуты особенно великими и достойными всяческого подражания. Лишим мы себя древних развалин и окажемся в роли стада животных: вольны бродить туда и сюда, с одинаковой охотой прожевывая траву да и шерсть с боков пасущегося рядом, и не осознавая, что давно отмечены для заклания кем-нибудь более памятливым.

Так думалось перед предстоящей встречей с легендарным мавзолеем. Но человек предполагает, а бог располагает. Всю ночь крупные капли дождя стучали по зонту тарантаса. Истомленные лошади, скользя по грязи, перебирались шажком. Только усиленное хлопанье бича и фырканье усталых коней и отчаянные крики ямщика нарушали однообразный бой дождя.

Скверная была ночь и скверно было ехать. В тревожном сомнении, опасаясь как бы дождь не помешал

нашему плану, я несколько раз обращался к ямщику с вопросом:

— Ну что, не разъяснело?

Ямщик, промокший до костей, брюзгливо отвечал:

— Нету..,— и потом в виде обращения к судьбе прибавлял:

— Эка, погода! Брррр...,— и стряхивал набравшуюся на коленях воду.

Жаль мне было ямщика, если бы ехали скоро, он бы давно отдыхал на теплой печке. Так мы ехали час. Вдруг до меня донесся глухой голос ямщика:

— Ваше благородие, вот и могила!

Я высунул голову наружу. Солнце тускло выходило из-за угрюмых туч, все небо было покрыто сплошной массой грязно-матовых облаков, дождь шел как прежде. Замылившиеся лошади едва тащились по грязи солончака. Налево за рекой высилось нечто мрачно-монументальное — это виднелся через верхи тополей остроконечный шпиль мавзолея. Казался он багровым, возможно, от красного камня, тревожил душу и властно тянул к себе. Но в такую погоду переправляться на тот берег было невозможно и, следовательно, нечего было думать о философском чаепитии и комфортабельном осмотре казахского антика. Ямщик, хлюпая мокрыми шароварами, встревоженно и в то же время обреченно и покорно просипел:

— Кажись, и река в разливе, ваше благородие. Не переедем...

Он угадал мои мысли.

— Ну, поезжай вперед,— сказал я ему.— Посмотрим в обратный путь...— и, завернувшись в шубу, я повернулся на правый бок, закрыл глаза, чтобы уснуть, Времени задерживаться здесь основательно никак не было.

Предстоявшая нам миссия замирения родов дикокаменных киргизов требовала скорейшего разрешения. Так что уже 19 мая мы, поднявшись на возвышенный перешеек, соединяющий горы Алатау с хребтом Куулук, вышли к высокому утесному логу, по дну которого извивалась довольно быстрая речка Первая Мерке. С высоты течение реки было особенно живописно: по зеленому и отглаженному полотну синела тонкая ленточка, окаймленная с обеих сторон аллеями ив. Можно ли было думать, что подобный пейзаж почти английского сада предстанет авансценой диких трагедий?

На Первой Мерке мы должны были еще разгребать

снег, чтобы при усиленном и всеобщем содействии отряда благополучно поднять на лямках артиллерию.

При впадении в Гарын Второй Мерке перед нами предстал не менее удивительный ландшафт. Крутые берега, обставленные громадными утесами, пирамидальние ели, растущие на граните, кажется, сами принуждали под собою струиться и пениться зеленоватые волны.

Подъем же на Третьей Мерке был, наоборот, легок и приятен своими желтыми розами, вереском и кизилгой, пепел которой туземцы кладут в нюхательный табак. Проход, образованный Третьей Мерке, и есть памятное дефиле, что вывела нас к Иссык-Кулю, предмету нашего риска. Отсюда и вышел слух, что пишпекский фарманчи, сиречь губернатор, с полутора тысячью воинами разбил манапа Сарыбагашей Умбет-Али и взял его в плен. Некоторые болтливые бугинцы говорили, что этот слух распущен ложно, чтобы мы из опасения стычек с кокандцами не шли на это озеро, занятием которого нами свобода иссыкульцев может навсегда уничтожиться. Другие говорили, что четыре подданных Кокандского хана находятся теперь в ауле у Бурунбая, влиятельного манапа рода бугу. Понятно, что бугу теперь хотели отделиться от нас, чтобы в союзе с сартами окончательно разбить сарыбагашей. Вот она азиатская политика, черт ногу сломает. Но мы решили во что бы то ни стало все же идти на озеро.

Оставив отряд в предгорьях, я с несколькими казаками отправился в аул манапа Буранбая, что стоял на Джиргалане в верстах тридцати пяти от нашего лагеря. Я проехал через брод Туп и потом поднялся на возвышенную гряду Тасба. Наконец в полдень перед нами открылись аилы в виде белых точек, на берегу сиявшего чистейшим кобальтом озера Иссык-Куль, сливавшимся с сиянием неба и дальним рельефом снежных гор. Жаркое палящее солнце бросало на озеро и на долину круглообразные от облаков тени.

По уверению народа, на месте, где теперь Иссык-Куль, была прежде обширная равнина, заселенная богатыми городами. Хан народа, населявшего эти города, народа языческого, неверного, до глубокой старости не имел детей. Сокрушаясь о предстоящей участи своей фамилии, он в отчаянье обратился к богу и просил дать ему сына, хоть в образе осла. Молитва его была услышана; одна из жен его, гулявшая в это время в саду, встретила осла, который обнаружил к ней чрезвычайное внимание. Ханша, по неисповедимой воле судьбы, почувствовала тоже удивитель-

ную нежность к длинноухому кавалеру. Завязалась интрига, плодом которой был младенец — сын. Старый хан был в восторге, что, наконец, небо послало ему наследника. Хан нисколько не изумился, увидев длинную, в виде трубы, челюсть ребенка, и не огорчился его ослиным ушам, все было в порядке вещей. Он просил сына хоть в образе осла, и бог ему дал сына и в неисчерпаемой своей благодати украсил его только ослиными ушами да и чуть-чуть великоватой челюстью. Ребенок вырос и после смерти хана сделался сам ханом под именем Джанбек. Государь он был умный и справедливый, только желание скрыть свои длинные уши заставляло его приступить к предохранительной мере, которая не посвященным в тайну его рождения казалась жестокой. Все брадобреи, очищавшие царскую голову, больше не возвращались в свои дома... Такое тайное и непонятное исчезновение всех цирюльников привело народ в ужас, и никто не хотел заниматься этим, прежде доходным, а теперь столь ужасным ремеслом. Брадобреи вывелись. Хан вынужден был теперь заставлять своих подданных бросать жребий, дабы кто-то все же шел к нему брить его башку. Прошло много лет, погибло много народу, пока жребий не пал на одного-единственного сына одинокого старика. Молодой человек, отмеченный перстом судьбы, принялся с особенным искусством за процесс бритья и, в одно мгновение окончив свое дело, сказал: «Государь, шабаш!», при этом сделал вид, что совершенно не заметил странную форму ханских ушей. Хан ладонью потер свою голову, голова была бела и чиста как точеный шар, потрогал свои уши и спросил коварно: «А уши ты мне, брадобрей, не поранил?» На что юноша ответил: «Уши? А я их сразу и не заметил». Сильно понравилось Джанбеку бритье молодого человека. И так как хан понимал, что дальше он не может проводить тот порядок, лишивший его ханство многих граждан, он твердо решил покончить эту кровавую игру, и, передав свою тайну клятвенно молодому цирюльнику, сделал его своим визирем. Дружны были хан с визирем до того, что пили из одной чаши вино и ели из одной тарелки пилав. Но справедливо говорит пословица: если худая лошадь обрастает жиром, то и сесть на себя не позволит. Не умел с покорностью и довольствием перенести богатство и честь новый визирь. Возгордился, и гордость погубила его. Хан любил соколиную охоту, и визирь сопровождал его на ней, оба имели своих птиц. Однажды сокол визиря обогнал ханского и взял лебедя. В припадке радости, визирь начал в забытьи

кричать: «Мой сокол лучше сокола хана Джанбека, у которого ослиная голова». Весь народ, присутствовавший на потешном зрелище, ясно слышал эти слова и теперь понял, отчего хан извел столько брадобреев. Джанбек запылал от стыда, бросился бежать в свой дворец, успев приказать только убить своего визиря. Между тем, визирь опомнился, увидел свое положение и бежал в горы. С этого времени Джанбек получил прозвище Ослиная голова.

Долго скитался визирь в горах и только редкими ночами посещал город. В один из своих ночных визитов он пришел к царскому колодцу с золотой крышкой, вспомнил былые славные времена, когда пил воду из этого колодца, вспомнил свое визирство и стал в обиде громко молить бога, чтобы он весь этот город спустил в преисподню. Аллах в это время был гневен на этот город за его разврат и безбожие и изрек: куп оряй куп!, и вода начала бить огромным столбом из колодца, и в одну ночь на месте города стало озеро — озеро Иссык-Куль.

Легенда эта, напоминающая Содом и Гоморру, как можно полагать по вулканическим признакам озера, имеет основанием своим землетрясение, разрушившее прибрежные города. В сильную бурю из озера выбрасывается разная утварь домашнего обихода, что утверждает народ еще более в справедливости сказки о Джанбеке — Ослиной голове.

День был жаркий, солнце палило, как на экваторе, нужно было отдохнуть и при вечерней прохладе или как говорят казаки: по «салкинчику», беря в основу казахское слово «салкын» — прохлада, отправиться далее. С этой целью мы повернули в ближайший аил. Хозяин аила, молодой человек, вышел нам навстречу, и мы расположились в его палатке. Нам, как почетным гостям, принесли чаю, заваренного вместе с солью в кувшине, что-то вроде калмыцкого затурну. Мальчишки со всего аила собрались около нашей юрты в ожидании полакомиться бараньими косточками, которые останутся после нашего обеда. Ожидания их были тщетны — я освободил хозяина от этого долга, обедать было некогда. Каракиргизы, даже те, кто в душе надеялся принять участие в нашем пиршестве, держались поодаль. А женщины, надо сказать, вообще нас боялись и не выходили из своих лачуг. Только раз показалась молодая баба в полосатом бухарском халате и девка в белой рубахе, заменявшей ей платье, и в красной остроконечной шапке с кисточкой. Впрочем, и они скоро скрылись. Попутчики мои, а у них, как у тех, кто много бывал в степи, взор

быстрый и острый, заметили, что баба была очень недурна собой, но худа, а девка, говорили они, была совершенно красавица — разумеется, в их вкусе.

Въезжая в аил, я заметил, что все, завидев нас, бросались в свои юрты с криком: «Урус! Урус!» Чтобы отстранить страх и завлечь любопытство местных обитателей, я, по скромным в пути возможностям, переоделся в киргизского франта. Уловка моя действительно увенчалась полным успехом — по крайней мере дальше меня встречали без стеснения и подозрений. Во втором аиле даже бабы посыпались к нам как горох из своих юрт. Одна из них затеяла похоронный плач, адресуя его ко мне, как своему, правоверному. У каракиргизов, как и у нас, казахов, вдова должна в продолжение года оплакивать с криками смерть мужа. И когда проезжают путники, они должны затягивать свои траурные песни. По расспросам мы узнали, что плакальщица лишилась мужа в побоище между сарыбагашами и бугу. К тому же над юртой после смерти вывешивается флаг, если флаг красный — умерший был молод, черный — средних лет, белый — старик. Над юртой этой несчастной висела черная тряпка.

Мы остановились послушать элегию дикокаменной матроны. Признаюсь, я ожидал услышать что-то о печальных чувствах или нечто близкое к этом, но прозвучала только жалоба к богу о том, что будет с ней, и обращение к покойнику с вопросом, кто же будет совершать теперь с ней обыденные и естественные нужды, кто будет шить сапоги, кому она подаст блюдо с просяной кашей и так далее. Все это быстро меня утомило, и я вступил с окружившими нас каракиргизами в разговор. Узнавши, что я сам казахский султан и потомок ханов, они сделались еще приветливей и доверчивей, а пожилые женщины-аячи с участием смотрели на мое худое тело и безрумяное лицо и выводили резонные заключения, что я, бедняжка, наверное, скучаю по матери, и сожалели, что такого мальчика, как я, в такой далекой стороне вряд ли кто приголубит и очистит белье от докучливых кровососущих насекомых. Последние наивные их слова меня рассмешили. «Что за добрые и простые люди», — думал я. А во взоре одной старушки я увидел так много истинной доброты и участия, что разом осушил чашку, чтобы только сделать ее довольной. Через минуту я знал, что дочь другой почтенной старушки была в замужестве за казахским султаном наймановских родов. А так как здесь считали всех султанов почти за одно лицо, то и весь аил стал с нетерпением

расспрашивать о судьбе своей родственницы. Я счел нужным не только объявить себя знакомым того султана, а даже его братом, и на вопросы отвечал положительными фактами, выставляя их родную как любимую султаном жену. Говоря эту невинную и утешительную ложь, я имел намерение сблизиться с народом и приобрести их родственную любовь. По крайней мере, мои человеческие и дипломатические цели не расходились. Ответы мои на некоторые чрезвычайно трудные вопросы: как зовут султаншу-каракиргизку, сколько у нее детей, были согласны с имеющимися у них сведениями, что я сам удивлялся своим надувательским способностям. Как бы то ни было, между нами начался доверительный разговор. Мы шутили с молодками-аяч, и они в ответах своих обнаруживали неожиданную откровенность и остроту. Вообще женщины иссык-кульских жителей имеют много прекрасных сердечных качеств и, проживши несколько дней, можно было с ним познакомиться коротко. Даже теперь они без сомнения были к нам благосклонны, хотя нет ничего без исключений. Со мной тут же случился почти дорожный анекдот. Я, в припадке мании к прекрасному полу дикокаменной орды, имел неосторожность, проходя мимо одной юрты, заглянуть, как говорят персы, в эндерун — женскую половину дома, откуда прежде за мной следили черные глазки, по моим расчетам непременно хорошенькой аяч. Я не обманулся. В юрте действительно сидели две недурные собой девицы, но одна из них, к великому моему ужасу, удивлению или радости, не знаю, была только во всей своей натуральной красоте. Comme de raesson, что пойманная моим взглядом аяч устыдилась очень и очень, только не совсем. Она, оправившись от первого испуга, принялась страшно бранить меня. Следуя ее проклятьям, мне суждено было глотать камни, глазам моим предназначалось искривиться, а в довершение всех бед, долженствующих обрушиться на меня, она назвала меня курносым казаком! С одной стороны я имел от ее слов порядочную печаль, с другой — был рад, что удалось разом познакомиться с изощренным словарем ругательств, что не последняя статья в языковеденье. Я было уже хотел войти в этот эндерун, чтобы принести свои извинения в более тесной обстановке, но тут меня почтительнейшим образом, но настойчиво пригласили в отдельную стоявшую от аила юрту, которая сразу же за мной наполнилась старухами. Они принялись путанно и длинно объяснять мне нечто, и, наконец, в разговор решительно вмешалась пожилая женщина с

длинными зубами. Она сидела у входа на бараньей шкуре, заменявшей ковер, и грязными руками плела аркан, время от времени кивая и при каждом кивке обнаруживая полный ряд ужасных клыков. Зубы ее выказывались, очевидно, против воли почтенной мадам. Она совсем не была расположена к оскаливаниям, ибо беспрестанно подносила рукав пестрого халата к губам, но при всем при этом говорила спокойно, с явным убеждением в своей правоте:

— Высокочтимый господин аллаяр, у меня есть одна несчастная невестка, одержимая бесами. Я слышала, что вы можете их выгнать.

— Как же я их выгоню, этих бездельников? — спросил я удивленно.

Мадам с зубами бросила на меня испытывающий взгляд и терпеливо объяснила:

— Очень просто. Надо нещадно бить плетью нечистую храмину, и все бесы уйдут.

— Храмину?

— Да, тело больной,— все так же спокойно отвечала эта странная просительница.

— Да отчего ты решила, что я могу выгнать из больного тела потусторонних гостей? — еще сильнее удивлялся я тем способностям, которые обнаруживали во мне.

— Кто же, как не вы, люди с белой костью, можете это,— сказала мадам с зубами, взглядом прося окружающих без сомнения подтвердить ее догадки.— И потом вон в руке у вас и плетка. Не зря же она у вас.

— Да помилуй, ведь эта плетка погонять лошадей!

Спокойная до сего мига мадам вдруг так взвыла, что я отшатнулся от нее невольно:

— Аллаяр! Аллаяр не желает помочь нам, несчастным людям! Зачем же султану погонять этой плеткой самому лошадей, если у него вон сколько верных слуг, обязанность которых и есть погонять лошадь господина.

Последний аргумент мадам с зубами был настолько нелеп, что я и не нашелся — что ответить. И за это тут же поплатился. Публика сочла мое молчание за поражение и безусловное доказательство правоты фанатичной аяч и явно приняла ее сторону. Десятки глаз стали на меня обиженно коситься. К требованию мадам с зубами избить ее невестку плеткой присоединились и подошедшие к юрте мужчины аила. Как я ни старался уверить просителей, что все это вздор, никаких бесов нет, что невестка ее, видимо, просто больна, ее надо лечить не побоями, а душевным спокойствием, уговоры не возымели никакого

воздействия. Каракиргизы принялись с неудовольствием покидать юрту, явно подозревая меня в жестокости: человек одним ударом может изгнать бесов и не хочет. Да и вообще, следовало отсюда, какое сострадание можно желать от чужака и неизвестно зачем он у нас появился, конечно же, не с добром. Такие теории грозили при быстроходности киргизских лошадей мгновенно распространиться по всей иссык-кульской впадине. Делать было нечего. Я решился и рекомендовал одного кайсака, сопровождавшего меня вместе с казаками, как султана и своего брата. Рекомендованный батыр, не утруждая себя излишними размышлениями и сомнениями, быстро принял марсовский вид, встав с поднятой нагайкой. Несколько баб подвели к нему несчастную жертву и держали ее крепко, пока этот тип с криком и удовольствием не начал свое дело. Несчастная начала визжать и при большом усилии вырвалась и бросилась бежать. Ее опять схватили. Особенно бесилась зубастая свекровь. Иногда казалось, что только она одна производит столько крика, но это кричала толпа вместе с ней:

— Бей! Бей! Ур! Ур! Ур!!!

Меня это возмутило окончательно. Я подошел к мадам и приказал отвести больную домой, в ответ же она нагло обругала меня:

— Если сам не пожелал мне помочь, то не мешай доброму человеку спасти душу этой несчастной! Люди, да этот казах вовсе и не султан. Притворщик! Проходимец!

Стоит ли говорить, что за нею и все родные этой сумасшедшей оказались недовольны моим вмешательством. Злобные взгляды устремились на меня. Вот уж действительно превратности судьбы, еще с полчаса назад я был лучшим гостем этого аила, теперь мне явно угрожали побоями. Следовало быстро удалиться, но как оставить эту больную женщину в руках возбужденной толпы. Я не мог вытерпеть, подошел сам к ней и вырвал кнут у подставного султана. Тот сразу потерял свой воинственный вид и принялся робко кланяться передо мной, бормоча всякие извинения. Этим извинениям грош цена, подвернется ему завтра безнаказанно избить и меня, сделает это с превеликой радостью. Несколькими резкими словами я отослал его прочь. Это отрезвляюще сказалось на толпе, и все же аильчане расходились неохотно и были в душе возмущены моим произволом. Одна только сумасшедшая бросилась мне на шею, называя меня разными нежными именами:

— Ой, дяденька... золотой, золотой, да буду я твоей

тенью, дяденька! Луна, солнце, звезды! Зеркальце мое... дяденька...

Я снял руки сумасшедшей со своих плеч и хотел было идти к ожидавшему уже немало меня тарантасу, но тут появился крепкий усатый парень и, увидев его, она снова ткнулась куда-то мне под руку с криком:

— Кара-джан! — а закончила очень жалобно и протяжно.— Зеркальце...

Крик ее, видимо, смутил усатого парня, и он в нерешительности остановился неподалеку. Постепенно все успокоились, и я, с усилием, наконец, отстранив эту привязчивую больную от себя, принялся рассматривать ее. Ей было, по-видимому, не более пятнадцати лет, хотя двухрядная коса подтверждала то, что она была замужем. Она была очень хороша собой. Большие черные глаза с особенной болезненной живостью блуждали во все стороны, как бы ища кого. Лицо было бледное и худое, нос тонкий, изящный, губы припухли и ярко покраснели от невольных прикусов, лоб высокий как купол бухарской мечети. На ней не было вовсе платья, только дырявый халат внакидку, но и при всем при этом она не производила дурного впечатления.

Я попробовал с ней заговорить, но она на все мои вопросы отвечала отрывисто, одними именами:

— Джанбек! Золотой... Ай-ай, Джанбек! — затем, указывая беспомощной рукой на усатого парня, засмеялась и, безумно хохоча, добавила.— Он! Зеркальце... Нет зеркальце! Воротник порвал, рвал, рвал! Он — Кара-джан!

И, сказав это, с обезьяньей поспешностью сорвала с головы свой платок и спрятала под халат, озираясь и пугаясь, как бы кто-то не заметил ее уловки. Видимо, этот Кара-джан был ее мужем и бил ее, расколол зеркальце, порвал рубашку. Я обратил на него строгий взгляд и приказал ему более не ломать зеркал и не рвать рубашек, на что он вяло, с оттенком безразличия в голосе ответил:

— Не слушайте ее, благородный господин. Не рвал я ничего и не ломал.

— О-о, Джанбек! Не верь ему, не верь, он рвал, он расколол твое зеркальце, Джанбек...— хотя и тише, но продолжала упорствовать сумасшедшая.

На этом я посчитал эту историю законченной и было собрался ехать дальше, видя как мои казачки вдалеке уже проявляли усиленное нетерпение, но меня остановило то, что я уже слышал здесь на Иссык-Куле о каком-то Джанбеке и о странной истории, связанной с ним. Я

спросил: кто таков этот Джанбек? И тут же вспомнил о Джанбеке-Ослиной голове из легенды об озере.

Услышав мой вопрос о Джанбеке, аильчане примолкли и пораскрывали рты, словно в ожидании предстоящего интересного происшествия. Ответил мне усатый Кара-джан, хотя не сразу и очень неохотно:

— Это вор.

Пожалуй, этот ответ меня вполне удовлетворил бы, но вот сумасшедшая невестка вскочила с земли и гортанным голосом, ошеломившим меня неистовостью, воскликнула:

— Нет, нет! Это неправда! Джанбек... Джанбек! Он как солнце!

Здесь есть у меня случай заверить, что каракиргизки вообще не отличаются робким нравом. Английский лейтенант Вуд имел редкий случай видеть дикокаменную амазонку, гарцевавшую на рысистом быке, как Европа, похищенная Юпитером.

Вслед за больной заорала и ее свекровь с зубами, хищно протянув к лицу больной свои растопыренные пальцы рук:

— Замолчи сейчас же, бешеная! Дрянь! Аллаяр, неужели вы не видите, как ее, бедняжку, мучают бесы! Оставьте нас! Люди, сородичи, да где же вы?!

Ее вопли возымели во мне обратное действие, я остановился и сказал:

— Бесов я не вижу, а вот кто мучает эту бедняжку, хочу узнать. А ну, скажи, несчастная, кто это твой Джанбек?

Здесь, к моему удивлению, закричал с превеликой злобой ее муж, казавшийся до этого человеком меланхоличным:

— Это вор! Проходимец! Он попрал законы наших предков, и кости его долго будут еще тлеть в аду! Это самая последняя собака. Нищий! Побирушка! Каждый вправе убить такую гадину!

Затравленная невестка снова вцепилась в край моего платья и забормотала со стонами и всхлипываниями:

— О-о-о... Джанбек... Не оставляй меня здесь... Я знала, что ты придешь за мной, Джанбек... Золотой...

При всей неестественности ее поведения, плач ее был настолько по-детски горек, что я никак не мог подумать о новом приступе ее сумасшествия. А когда она подняла свое лицо ко мне, я увидел глаза не только полные слез, но и здорового ума. Затем она вся напряглась, как тростиночка, и кинулась к мужу с криком:

— Ты убил его!

Ее усатый муж в ответ тоже завопил:

— Замолчи, тварь! Кто тебе разрешал раскрывать свою гнусную пасть?! — и дернул ее за косы и оторвал их от головы.

Я остолбенел, хотя знал, что длина волос считается здесь первой красотой, и поэтому многие женщины носят фальшивые волосы. Но у моей подзащитной свои волосы были не жидкие, а неровно стрижены почти под корень.

Мне вся эта кутерьма основательно надоела, а последняя картина подтвердила всю нелепость положения, в которое я попал. Продолжи я так покорно выслушивать крики и вопли обитателей этого сумасшедшего аила, скоро они совершенно затолкают меня. В этих случаях нелепость, как клин клином, вышибается еще более бессмысленной нелепостью. И я, выставив одну ногу вперед, руки заложив за спину, а свой впалый живот как можно более вздув, как скверный актеришка, изображающий римского консула, напыщенно проговорил:

— Я, султан Мухамед-Ханафия, сын Чингиза, сына Вали-хана, сына Аблай-хана, я именем своим и именем предков своих объявляю суд для разрешения спора людей, стоящих передо мной, и, выслушав их беспрепятственно, заключу между ними те обязательства, которые сам сочту справедливыми,— и завершил эту тираду несколькими фразами из Корана.

Толпа аильчан загудела, повторяя: «Аблай, Аблай», и мужчины вместе со мной подняли к лицу ладони в знак принятия всех милостей, которые несут собой священные слова. Без сомнения, эти люди были и как наши казахи весьма охочи до всяких площадных представлений. Тут же сбегали за белой кошмой, если можно так назвать серый клочковатый войлок, расстелили его в тени юрты. Я вальяжно прошел к предназначенному посту и, изобразив глубокую задумчивость, разместился там. С полчаса, как этого требует церемониал подобных действий, я глубокомысленно молчал. Молчала, изнывая от жары, и толпа. Наконец я, порядочно отдохнув от стоявшего здесь ора, вяло указал рукой в сторону мужа несчастной, и суд начался. Не буду, чтобы не утомить читателя, приводить все то, что здесь самым отчаянным образом было бестолково и запальчиво произнесено, лишь протокольно приведу суть происшедшего. А она вся заключалась в том, что эту несчастную девочку выдали замуж против ее воли. Усатый Кара-джан, питавший к ней, без сомнения, нечто вроде любовных чувств, смог заплатить за нее калым в тридцать

баранов, а вот ее избранник — некий Джанбек — не имел такого умопомрачительного количества скота. Обычная история, осложненная, правда, тем, что и проданная девица, и нищий Джанбек проявили весьма неблагоразумное упорство, кажется, даже бежали вместе. Сейчас эта несчастная утверждает, что ее возлюбленного Кара-джан с дружками сбросил в пропасть, сам же Кара-джан, естественно, принялся все отрицать, утверждал, что этот пес Джанбек просто сам свалился в какую-то дыру. Интересно, что никто из них за более чем двухчасовой спор не произнес слова «любовь». Зато чрезвычайно много было сказано о девичьей шапке этой невесты, которую по местным обрядам должен сбить ее жених. Кара-джан заверял, что шапку он с головы своей будущей жены сбил легко и играючи, она же утверждала, что нет, шапка была не сбита. Бедняжка, как я понял, даже под корень срезала на голове себе косы, чтобы и стыд ей помог во что бы то ни стало удержать эту роковую шапку на голове. Очень странным было то, что этому увальню Кара-джану непременно хотелось доказать, что именно он сбил ту шапку. Сбивал он ее, не сбивал, разве это важно, если он все равно стал полноправным хозяином этой женщины, а впрочем — рабыни? Убедившись, что у этой несчастной нет иного выхода, как смириться, так как любимый ее погиб, а родственники вполне довольны теми тридцатью баранами, я призвал ее покориться судьбе и, быть может, она наградит ее за терпение красивыми детьми. А мужу ее строго приказал более не обижать жену, что он мне тут же клятвенно пообещал. Несчастная безмолвно выслушала мой приговор, сникла вся и уже без всякого, я уверен, умысла, сказала мне:

— Прощайте, господин! Вы были добры ко мне, не били. Я скоро умру.

— Почему ты так решила? — спросил я.

Она помолчала и потом, нисколько не волнуясь, ответила:

— Наши звездочки стояли рядом. И когда упала звезда Джанбека, моя скатилась следом.

Признаюсь, я растерялся. За это очень короткое время эта изуродованная девочка стала мне не безразлична. Была она бита, была обманута, но что все это по сравнению с тем, как она была одинока! Узрев, что я заколебался в правоте своего приговора, мадам с зубами решила укрепить во мне судейское решение.

— Ничего с этой дрянью не сделается, аллаяр,— заметила она уверенно.— Вылечим.

— И как же ты собираешься ее лечить дальше? — удивился я.

— Известно как! — ответила свекровь и с таким клацаньем захлопнула свою пасть, что вздрогнул даже ее сыночек.

Времени на последующие раздумья не оставалось, и я сам, не ожидая того, произнес:

— Люди! Я судом своим и судом своих благородных предков объявляю: невестку этой женщины действительно мучают духи. И от того, что эта несчастная так неистово призывает некоего Джанбека, я вижу, что не робкая душа погибшего юноши волнует ее, а в нее вселились подводные духи озера. Они сильны и коварны, неровен час, поднимут волны озера и зальют вас вместе со всем вашим скотом. Так что, один вам мой совет: скорее собирайте кочевье и бегите в горы.

Мужчины аила схватились за свои бритые затылки, старухи взвыли. Что ж, толпа получила то, что так упорно желала. Тут же предложили забить бешеную невестку камнями, на что я ответил, что подобная мера ни к чему хорошему не приведет, ибо и над трупом ее будут витать те же духи и станут еще опасней. Толпа сочла мой довод весьма резонным и бросилась выспрашивать, что же им делать и как избавиться от такой смертельной напасти. Посоветовал я им только одно: подсунуть эту несчастную какому-нибудь глупому и никчемному человеку, лишь бы он был из дальних мест, и пусть он ее увезет. Бог даст, духи, видя, куда их заманивают, отстанут по дороге и не причинят этому путнику большой беды. Представьте, эти наивные люди без всякого смущения принялись тут же предлагать мне эту несчастную взять с собой. Да и наивность ли это? Впрочем — наивность, наивность толпы, так как толпа не знает совести и морали. Как бы там ни было, они настаивали на своем, высказывая при этом самые нелепые уговоры, вплоть до того, что если и я стану жертвой духов, то они отошлют моим родным трех быков и семь коров, за что мои родственники будут как никогда мне благодарны. Наконец я с явной неохотой согласился. Однако здесь поднял бунт усатый муж.

— Стой! Куда? Это моя жена! Не смеешь, убью! — закричал он и, подняв с земли железный кол, видимо, от какой-то треноги, размахнулся им над моей головой.

Нынче модно быть фаталистом, но думаю, фатализм

по большей своей части происходит от безысходности тех ситуаций, в которые мы попадаем. И верно, стоило мне как-то запротестовать или попытаться уклониться, кол этот обрушился бы на мой нежный череп. Дикокаменные киргизы не знают жалости в драках.

На наших глазах был пример, когда род бугу убил манапа Урмана. Последовала война между родами, кончившаяся совершенным разграблением бугу. Во всем роду не осталось ни одной юрты. Я проезжал через место происшествия: повсюду валялись кошмы, мертвые тела на пространстве четырех верст.

И я продолжал невозмутимо сидеть под оружием моей смерти до тех пор, пока этот усатый парень сам не отступил, и, выронив из рук кол, упал на колени. Лицо его приняло, как у всех неуравновешенных натур, плачущее выражение, и он принялся ныть:

— Аллаяр... господин... великодушный султан... не трожьте мою жену, я куплю ей платье... два платья и платок! Господин, аллаяр, аллах не забудет вашей доброты. Что ж от того, что в ней бесы, значит, так суждено... я больше не трону ее и пальцем! И никому не позволю даже в чем-то ее обидеть.

Между тем, старухи уже тащили несчастную невестку к моему тарантасу, а ее клыкастая свекровь набросилась с кулаками на своего сына и, избивая его, произносила не то проклятья, не то укоры. Она вскрикивала что-то, вроде: «Мать-огонь, или Дух-отец» и колотила своего великовозрастного сына. Мне же вслед она с ненавистью крикнула:

— Да чтобы конь твой спотыкался обо все камни и колоды, да чтоб ты упал с коня, да чтоб ты скатился в пропасть!..

Так в обозе нашей экспедиции оказалась эта особа, никому не доставляя беспокойства и хлопот. Всякие безумные действия у нее исчезли, по крайней мере, мне на нее никто не жаловался.

Я предполагал доставить ее по пути на верховье Тургеня, где живут казахи-хлебопашцы и сидит султаном Али, муж зело глупый, покрытый густо-рыжими волосами, как первобытный человек по Бюффону. Он хочет казаться цивилизованным, потому-то и смешон, но, впрочем, добр. Там можно было выдать ее замуж за какого-нибудь приятного и старательного работягу. Но, когда я попытался рассказать, какая ее ждет прекрасная перспектива, она плакала и просила отпустить ее на свободу. Меня искренне

удивляло, откуда в этом худеньком существе столько влаги.

По завершению дел мы возвращались в Семиречье через горный проход Санташ. По нему минуют хребет Кунгей-Алатау и караваны. Обыкновенная дорога, вследствие бывшего перед нами в горах снегопада, была закрыта, и мы шли по крутому кряжу гор, рискуя изгибами своих шей. Лошади наши по таявшему снегу скользили, сбрасывая в пропасти камни. Казаки спешились, между тем как привычные к таким обстоятельствам проводники-казахи спокойно покачивались в своих седлах, бросив поводья и напевая песни. Круглый час мы перебирались по этой тропе, и, наконец, начали спускаться. Спуск оказался гораздо круче и более неудобным, нежели подъем. Начинались еловые леса. Мы приближались к самой трудной тропинке, которая шла по краю отвесного обрыва саженей сорок высоты. Еще не доходя до страшного места, со мной случился казус.

На дороге лежала огромная еловая колода. Я пришпорил коня. Лошадь поднялась на дыбы, но задела копытом валявшееся дерево и упала. Меня отбросило в сторону, а бедная лошадка, потеряв равновесие, рухнула в пропасть. Я только услышал глухой рокот и увидел ее уже далеко внизу в реке.

Случай этот имел свою хорошую сторону, нет худа без добра, за мной он упрочил мнение спутников в смелости и ловкости. Я же, встав на ноги, сразу вспомнил страстное напутствие мне мадам с зубами из сумасшедшего иссык-кульского аила. Вспомнил и о ее несчастной невестке. Велел казакам внимательно присматривать за ней на этом опасном пути, но те сказали, что киргизка исчезла. Я огорчился и сам решил проверить, но нигде ее не обнаружил. Что с ней стало, я не знаю. Может быть, кинулась сама в пропасть, может быть, отправилась разыскивать могилу своего Джанбека, а возможно, вернулась к своему усатому мужу. Пути женщин, как пути господни, неисповедимы.

Ко мне подвели другую лошадь, и на ней я продолжил путь. Кругом среди диких камней уже рос вереск. Выше лежали пройденные нами снега; воздух был заметно холоден, ветер резок, так что я надел шубу. В эти дни аулы спускаются с гор на долины, где пашни, собирают там свой скромный урожай и идут в конце августа на Балхаш в пески на зимовку. Всю ночь мимо нас, остановившихся уже в казахском Баскане, шли кочевья. Утром, когда мы встали, все еще шли вереницы верблюдов, ведомые нарядно одетыми женщинами.

СЮЖЕТ IV

О романописании и негодных для сего занятия темах

Мысль писать романы не оригинальна. Однажды в О-ске во время почти семейного приема в доме генерал-губернатора мадам Асфорд наотрез объявила: романы врут, следовательно, все, что в них есть — вздор, и что все дамы, читающие романы, учатся врать и, следовательно, лгуньи. Все это было сказано так твердо, решительно, как факт, как аксиома, как подобает российской генеральше, что мы, все присутствующие, и ваш покорный слуга — юный в те времена корнет, изъявили полное и совершенное согласие с ней. Тогда-то Его Превосходительству благоугодно было изречь в назидание всех чающих и в особенности супруге следующие праведные (а иных он не имел привычки произносить) словеса, или, как он выразился — экспрессии: «Ты, жена, удивишься, когда узнаешь, что я, да — я, твой муж, писал тоже романы. Но это было давно, в годы моей юности, когда я был молод и горяч и.. увлекался подобно всем смертным оптическим обманом неопытной молодости. О юность, юность, что не заставишь ты делать! Действительно, господа, я писал романы, но писал не так как нынче. У меня порок был наказан, выставлен в самом грязном, отвратительном виде, а добродетель, как звезда первой величины, ярко сияла на безоблачном горизонте келейной жизни. Черные тучи, омрачавшие небосклон сюжета, расходились, и она торжествовала. Поверьте, господа, таким романам принадлежит будущее отечественной словесности. Если так, то в литературе, коли она объективность, появятся свои генералы. А под ними объединятся прочие литераторы с единым уставом. Но я отвлекся, извини, жена, так вот, я был романист по призванию ex proffesso. Если за maximum — высшее мерило литературных способностей индивидуума — принять светлый взгляд, увлекательное изложение, естественность и натуральность в изображении общественной и частной жизни человека во всех ее обстановках и коллизиях, все то, что отражает реализм социальный и одухотворенный идеями. Так что мои труды, как я заметил, могли бы выдержать самую строгую критику и через сто лет. Я ни в коем случае не aprobu писателей нынешнего времени. Пресловутая Жорж Занд с желанием какого-то изолированного счастья, бесплодного совершенства и с желанием еще чего-то неопреде-

ленного кажется на мой взгляд не более не менее вздорной бабой, которую нужно высечь. Все, что она ни писала — это пустая отвлеченность, риторические фигуры, грубая утилитарность. Только женщины с испорченным вкусом, не имеющие никакой женственности, могут кричать в восторге, читая эмансипированные химеры госпожи Дю Деван, и, закатив глаза, восклицать: qie c'et charmant! Совсем это не charmant, просто фантасмагория и неприличная exsate. Вот еще один идол — Гоголь. Ну что, скажите на милость, господа, вы находите в его творениях — циничную вседозволенность грубой жизни, описание смачных блюд, мир галушек и вареников и непристойные выражения, собранные в кабаках и на ярмарках. Как возьмешь книгу этого господина, так и пахнет салом, дегтем, тютюном. Fi donc! Ma shere, ты никогда не читай Гоголя. Эти его планы разве только для чумаков. Какая в самом деле приятность, когда вдруг перед вами откроется совершенно новый мир, как я уже сказал, галушек и жирных вареников, мир, в котором первую роль играют свиньи. Это значит не иметь никакого уважения к законам в отечестве и дерзко насмехаться над святыней зерцала. Его «Ревизор»— ложь, бесконечная, нескончаемая ложь! Где он видел этих молохов, которые сидят на кончиках стульев? Я, слава богу, изъездил всю матушку Россию вдоль и поперек, а, признаюсь, нигде не встречал ни Добчинских, ни Бобчинских. У нас даже в Сибири нет подобных образов. Вот судья в Канске — урод, ха-ха-ха, а исправник в Бердске это истинный род зверолова, да и тот молодец по сравнению с гоголевским городничим. (Пауза. Его Превосходительство изволили заглотить сдобную булочку). Ну так о чем я бишь говорил? Да, о моих романах. Нуте-с, господа, слушайте же, да мотайте на ус, уверяю вас, что все, что ни скажу, можете себе безвозмездно усвоить. Жаль что я не издал свои романы, но мне тогда было не до них. Служебные дела, военные экзерции и, наконец, главное мое призвание быть генералом, знаете, отвлекают. Сюжет для одного романа был взят мной из библейского сказания о посольстве аравийской и абиссинской царицы к Соломону. Я легким языком и увлекательным изложением хотел наглядным образом ознакомить массу публики с историей, религией и правами аравитян и абиссинцев, сделав свои открытия в области наук и искусств популярными. Многие темные факты истории тогдашнего времени были разъяснены мною до степени занимательной ясности. Факты изложены до совершества логично, аргументации сильны. Театром, местом действия я избрал пролив Баб-эль-Мандеб. Вы знаете, где этот про-

лив, корнет? (на вопрос губернатора я отвечал утвердительно и имел дерзость перевести название —«Врата воплей и плача», чем вызвал на себя строгие взгляды). Вы молоды еще судить о художественных приемах, корнет. Наоборот, я этим хотел дать читателю сразу ноту изящности, беспечности и радости. Итак, дело у меня происходит на мысе... (здесь месье Асфорда вдруг охватили беспокойные порывистые жесты, обнаруживающие состояние человека, которого забирает смертельная охота сострить и который, по известной только ему причине, не может привести в исполнение свою забавную шутку: но вот наконец с силой ударив рукой по столу, так что звякнули чашечки, он произнес решительно...) Гвардапуп на Бабе-эль-Мандеб! Ха-ха-ха! Ты, жена, не красней, что же ты сделаешь с ними, с нерусскими. Одно слово: арабы! Лучше представь себе картину на мысе... я уже говорил каком, ха-ха-ха! Стойбище аравитян и уединенная палатка царицы Савской на песчаном холме. Стада верблюдов, пасущихся на сытых пажитях счастливой Аравии. Звездное небо и луна в ущербе. Светило ночи бросает дрожащий свет на весь этот пейзаж. Грозные утесы пролива как-то страшно чернеют, море спокойно, и луна отражается на багряных водах Нептуна. Там и сям горят костры и по временам ярко светят, мерцая, огни, и аравитянки сидят у дымных очагов и готовят свой скудный ужин. Только в уединенной палатке царицы не видно огня. Она сидит задумчиво, облокотившись на одну руку, а другой перебирает коралловое ожерелье. Она думает о Соломоне, о его мудрости, она любит его самой чистой, платонической любовью. Вдруг она с лихорадочной живостью поднимает глаза в глубь небесной тверди, на звездное небо, и тихие слезы льются ручьем — она молится, ибо аравитяне были сабеисты, сиречь — звездопочитатели. (За этим герр Асфорд выпивает последний глоток пива). Жаль, корнет, что этих романов у меня теперь нет, я бы дал вам их в полное и неотъемлемое право, если бы Вы их издали под своим именем, нет сомнения, Вы получили бы репутацию и авторитет лучшего писателя. Пишите, пока ум юности счастливо порхает под сводом раздумьев государственных мужей...

Однако моего порхавшего тогда ума юности хватило на то, чтобы не броситься кропать романы под каким бы ни было сводом.

И слава богу! Но все же через некоторое краткое время, когда я уже пребывал в чине поручика, а от поручика до генеральских погон рукой подать, некий литературный бес принялся серьезно меня смущать: вот-вот, и я бы уселся бы

за письменный стол, непременно, как соответствует классику, из красного дерева, с гусиным пером в легко взлетевшей руке. И все от того, что был я в те годы неосторожен и знался с кем попало, как считал наш провинциальный свет. Даже с ссыльно-каторжными. Среди них в те годы находился и один небезызвестный в России литератор. Готов держать пари, если и существует тот потусторонний персонаж, о котором я уже рискнул упомянуть, то он непременно должет был тесно знаться с г-ном Д-ским, а от кого он ему достался по наследству, от Пушкина или от Гоголя, это не важно.

Бесу от литературы как всегда мало испытывать своих хозяев, он сует свой противный нос и в судьбы тех, кто как-то оказывается рядом с ними. Я совершенно уверен, что именно этот парнокопытный тип водил рукой всячески уважаемого и любимого мною Д-ского, когда тот писал мне в одном письме, что мне непременно надо написать записки о степном быте, о моей жизни и т. д. в духе Джона Теннера, уверяя при этом, что это была бы новость, которая заинтересовала бы всех. Уверен в этом, потому как при личных встречах Д-ский наоборот всячески предостерегал меня, как молодого человека, приятного ему, от такой пагубной напасти. Последний разговор на эту тему у нас состоялся уже в Санкт-Петербурге, куда он все же вернулся из ссылки и солдатчины, а я работал там в военно-учетном комитете Генштаба.

Не скажу, что я часто бывал у Д-ского. На столичной квартире у него принялась отчаянно вертеться куча всякого любопытствующего коленопреклоняющего народа, племя особо ненавистное мною. И мне всегда не везло, я обязательно заставал у него посетителей, причем людей знакомых еще по Сибири, а значит не везло мне вдвойне. Вот так там же пришлось мне раз встретиться с одним очень уж умным бароном. Барон имел прекрасные манеры, но вдруг с ностальгическим пылом заговорил о пыльных берегах Иртыша, о сильных и свободолюбивых людях, живущих на тех пространствах. Этот монолог я стоически выдержал, но когда, казалось, все уже было сказано, он снова разволновался: «Вы, верно, помните госпожу С.! Так представьте же, ей, немыслимо как, но все же удалось открыть свой театр!» «Да, сиротский край...»,— заметил наш литератор, приподнимаясь посмотреть, не несут ли самовар. Кстати, о сиротах. Конечно, каждый вправе занимать свое внимание только, скажем, явлением самовара, причем когда это ему угодно, но именно по совету Д-ского я имел несчастье заняться лю-

бовью с этой самой госпожой С., когда был проездом в прошедшие времена в том самом степном городке с верблюдом на гербе, где Д-ский уже раздавал приятелям выслуженную унтер-офицерскую форму, дабы вернуться наконец свободным в столицу к своим естественным занятиям. И посему я тоже счел возможным не ответить тотчас же утвердительно барону о своем знакомстве с госпожой С.

Наш отличавшийся роковой неистовостью литератор так тосковал в этом пыльном деревянном городке, что если бы с ним заговорили об искусстве даже не только верблюд с герба, а просто верблюд, то и в нем бы он увидел «луч света в темном царстве». Естественно, что миленькая супруга ротного командира тамошнего гарнизона, известная своим личным участием в делах какого-то губернского театра, не могла не вызвать в добрейшем Д-ском сочувствия. И идею создать среди казарм театр он страстно приветствовал и молил всех принять в этом самое деятельное участие, отзываясь о госпоже С., как о необычном таланте, какой только может нам дать эмансипация. У меня же сложилось впечатление, что местная Мельпомена была знакома с театром больше через костюмерную. «Ах, поручик,— тарахтела она в самые неподходящие минуты.— Вы не представляете, какой бенефис был у великолепнейшей Растухоло-Лебедевой. Одного голландского атласа ушло на платье для одного выхода одиннадцать аршин! Я верю в ваше благородство, поручик, и вы обязательно поможете мне! Вот и господин Д-ский уверял, что вы не откажете. Люди тянутся к храму, как зеленые немощные побеги к солнцу в этой выжженной пустыне! Ах, поручик, я отчаялась! Я совершенно отчаялась! Что мечтать о публичном театре, если я не смею думать даже о крохотной интимной домашней сцене. Прошу сыграть простенькую водевильную роль моего супруга и что слышу в ответ?! Ах, боже ты мой, как он смел мне так отвечать! Пришлось ввести в роль примы-любовника нашего денщика Абдулку. Хам, конечно, дикарь, но что делать? К тому же роль была простенькая — изобразить язычника, а этот сразу в крик: «Ты мне солдат не растлевай!» Как же теперь жить, чем дышать? Нет, поручик, вы положительно должны мне помочь. Прикажите ему. Вы можете, можете, можете! Не лгите мне! Вы особа приближенная к губернатору. Не смейте мне отказывать! Что стоит вам? Пустяк, один приказ и все! Будьте благодетелем, поручик, бог вам воздаст. Есть силы у нашего народа, стоит их лишь разбудить. Возьмите хотя бы нашего болвана Абдулку. Признаться, ему сложно произнести простейший монолог, но зато в какую он умеет

вставать позу! Нисколько не хуже чем сам Геродот Васильевич Огневой. Что вы так глупо смотрите? Я вам уже не раз говорила о нем. Ну вспомните. Только к нему склонила свою гордую головку Растухоло-Лебедева. Какой это был трогательный и пламенный роман! И никакой грязи! И я посвятила себя таким же принципам. Признаюсь вам, художественная правда требовала, чтобы тот же Абдулка играл роль с обнаженным торсом, но я во имя целомудрия искусства воспротивилась даже ей. Ведь театр не терпит попрания высокой морали. Вы, конечно, согласны со мной, поручик. И потом... в моем будуаре... видите, до какого отчаянного положения вы довели меня, поручик. Выведите меня из четырех стен к публике, к народу, к России! Там раскроется лишь вся художественная правда моего театра!»

За один вечер я пришел в такой ужас от ее фуреичесих наскоков, что уже на следующий день скрытно бежал в О-ск. Каким же было мое горе, когда всего лишь через несколько дней она появилась там в пестром окружении Д-ского, дабы иметь честь с толпою проводить его дальше уже из О-ска.

Я очень любил и люблю г-на Д-ского и хотя не терплю толпы, не мог позволить себе не прийти проститься с ним перед его желанной дорогой. Простились. И как только мы сделали последние жесты тарантасу, увозившему его от нас, госпожа С., сразу же возобновив свои кавалерские атаки, охватила меня плотным кольцом осады. Надо сказать, что у нее была удивительная способность легко сближаться с людьми и вызывать у них душевное беспокойство, которое многие воспринимали отчего-то как свое искреннее сопереживание ее заботам. Еще немного и все мои знакомые сочли бы меня виновником какой-то великой трагедии этой премилой женщины. А надо сказать, что просьба ее в нашем генерал-губернаторстве была совершенно фантастична. Азиатское купечество, как ни выкручивай им шеи, на такое богопротивное дело не вывернешь, а дворянство в наших краях бедное и темное. Правда, светилась неясным пятном одна надежда — провести ассигнование ее затеи через военное ведомство...

Это было то славное и дикое время, когда мой патрон-романист, изнемогая в борьбе со славою князя Потемкина-Таврического, не только отменял решительными циркулярами редкие и оттого неудобные для классических диспозиций на картах горы в степи, но и усердно покровительствовал всем музам. Улучив момент, когда Его Высокопревосходительство находился в особенно боевом настроении, я

робко заметил, что есть господа, считающие делом армии только казармы, но не театры. «Это форменная чепуха!— воскликнул герр Асфорд.— Извольте не забывать, что первым видом искусства было воинское искусство, а театром — театр боевых действий. Вообще непонятно, каким образом в нашем цивилизованном обществе еще осталась деятельность...» и т. д. и т. п. И в городок госпожи С., точнее ее мужу, верному вояке, стрелянному еще в Крымскую, полетело предписание считать инвалидную команду гарнизонным театром и составить ей особое довольствие с выплатой соответствующих затрат.

Но я отвлекся, вернемся же к месту, где наш литератор не пожелал кинуться в воспоминания о госпоже С., и я, естественно, предпочел вслед за старшим товарищем отмолчаться, а между тем барон все говорил, оглядывая наши непроницаемые лица, с удовольствием осведомленного рассказчика: «В этом театре участвуют жены офицеров, несколько инвалидов, но все же! Первый театр в этом богом забытом крае. А вы, султан, видели этот театр?» «Нет, инвалидный театр мне еще не приходилось видеть»,— отвечал я. Чем вызвал укоризненное покачивание бороды деликатнейшего Д-ского, которая, как бы отыгрываясь за бритую солдатчину, дала к этому времени удивительно быстрый рост. «Инвалиды,— отвечал мне барон, поджимая губы,— больше за кулисами бьют в железо, изображая выстрелы и гром. И хотя сама госпожа С. в силу слабого здоровья давно уже не ставит спектакли, а только как бы попечительствует, ее гражданский подвиг достоин всяческой похвалы и даже, может быть, описания!»

И тут тот самый литературный бес, который так и крутился вокруг, принялся щекотать меня и подзуживать: нуну, мол, вот он очень удобный случай подтвердить благосклонное отношение к твоему таланту со стороны знаменитого писателя. И я не выдержал и, поглядывая испытательно в сторону Д-ского, сказал: «А не поспешить ли мне написать об этой музе, отдавшей жизнь на просвящение дикого края, роман?»

Д-ский сразу поскучнел и уже громко принялся распоряжаться внести самовар. Я понял свой проигрыш, но, решив отступить с наименьшими потерями, продолжил: «А начну сий роман так: «...ночь. Царица Савская уединенно и задумчиво сидит, облокотившись на одну руку, а другой перебирает коралловые бусы. Верблюд, должно быть, из тех, что когда-то паслись на пажитях Аравии, терся линялым боком о стены и стучал ставнями. Вдруг царица с лихорадоч-

ной живостью поднимает глаза к небесной звездной тверди и, хотя видит только лишь скверно выбеленный потолок, молится, ибо аравитянки были звездопочитателями. Она думает о Соломоне, о его мудрости, она любит его самой чистой, платонической любовью. «О, мой властелин,— восклицает она, обращаясь с кровати к мужу, занятому своей трубкой.— Будьте хоть бы вы мне на миг Соломоном». На что ротный командир, прикурив суровый табак от расплывшейся свечки, строго отвечает: «Я, жена, крещен и быть Соломоном никак не могу»,— и выходит гнать прочь от дома облезлого верблюда в темноту азиатского городка. Взглянув с почти девичьей обидой на удалявшуюся сухую спину старого мужа, царица Савская заплакала еще горше».

Д-ский с самым серьезным видом раскалывавший сахарную головку, не выдержал и хмыкнул: «Вы, барон,— обратился он к своему визитеру,— не сердитесь на нашего поручика, который, впрочем, уже штабс-капитан... простите, ротмистр. Я его люблю, но он ужасный фантазер. Надо же было побеспокоить столь уважаемую тень Соломона!»

В том же водевильном стиле я бросился оспаривать такой приговор на свой предполагаемый талант: «Между прочим, один весьма и весьма крупный чин уверял меня, что ежели я именно так с Соломоном и аравитянками начну свой роман, то успех мне обеспечен».

Д-ский не ответил, а барон продолжил свой рассказ, правда, более сердито: «Описывать жизнь нашей театралки, может быть, и не надо, но вот помочь мы ей должны. Все-таки это гражданский акт. И поверьте, нельзя, чтобы эта искра потухла. Ведь в этом театре уже собрались удивительные люди. А какие таланты! Верьте, очень и очень незаурядные. Прошу, господа, верить мне на слово, но в этой труппе есть субъект, который без сомнения великий актер. Годунова он не играл, да и не ведает, видимо, о нем, но то, что я в его Гамлете вдруг увидел Бориса Годунова, поразило меня. Вам представится, что это галлюцинация, но я почему-то после спектакля только так и подумал!» «Отчего же галлюцинация,— обжигаясь почти кипящим чаем, пробормотал Д-ский.— По степени душевных мук, мук выбора, когда невозможны компромиссы — они равны. Даже быть может пушкинский Годунов еще более страдалец, хотя бы потому, что русский и не может до конца решить как европейский принц «быть или не быть». Но кто же он, ваш талант?» «Всего лишь денщик ротного командира!— развел торжественно руками барон.— Белокурый татарин, почти не знающий языка, но при этом свои монологи произносящий безуко-

ризненно чисто. Вам обязательно, султан, необходимо по возвращении сблизиться с ним. Редчайший случай!» «Конечно, редчайший,— согласился я.— Особенно если вспомнить и моего денщика, тоже татарина и тоже произносящего без всякого акцента «водка» и «копейка». «Да как вы можете, султан, каламбурить, когда речь действительно идет о подлинном и, может быть — великом актере! А ведь вначале, вы не поверите, его почти силой, приказом заставили выходить на сцену!»— окончательно разволновался барон, вскидывая руку с бриллиантовым перстнем и голову так, что пальцы и волосы изобразили на его лбу настоящий шторм.— Если бы вы видели, с какой он силой преображается!» «Совершеннейшая правда, барон,— отвечал я.— По физиономии этой бестии никогда не поймешь: чистил он сегодня мой мундир или нет».

Наверное, и я рассердился. Мне стало досадно, что я снова как мальчишка пытался выпросить это чертово литературное благословение. Хочешь писать — пиши! Чешется — чеши! Твоя забота! Тут Д-ский произнес: «О чем вы спорите, господа? Разве важно чей денщик более актер, да впрочем не об этом у вас спор. Не здесь драма. Она в том, что оба эти денщика денщики поневоле. А если кто-то из них еще и человек таланта, то тут действительно горе. Бездна горя! Вот где тема для книг. Но обязательно такую книгу не купят. Скучно читателю станет,— он притронулся ладонью к стоявшему уже на столе горячему самовару и закончил.— Остыл. Надо писать что-нибудь легкое, занимательное. К примеру, о Соломоне и аравитянках, здесь, дорогой мой султан, ваш крупный чин действительно прав. Или о том, как студент убивает мерзкую старуху ростовщицу. Все понятно... за что, почему и как хитро его ловят. Да вот беда, которую никак не хочет автор, он ее боится, ненавидит, да что делать, если этот студент обязательно там же убьет и ребенка, ну почти ребенка... ребенка, но это невозможно! Зачем же ребенка?! А ведь убьет... и топор еще в руке, а шагнуть назад ног нет. Что же обманывать себя, искать оправданий! Ребенок. Сколько бы ей не было, все одно — она дитя и, может, несчастней иного ребенка. Нет, только отказаться, и вы отказывайтесь! Не божье это дело,— отпил глоточек от свеженалитой дымящейся чашки и закончил, уже раздраженно.— Совершенно холодный. Давайте-ка, господа, велим самовар раскипятить! Лучше студент мой убьет двух старух, вначале одну, затем другую. Или трех. И автор доволен: роман выйдет толще, и читатель: старух жалко. А про этого актера давайте забудем, забудем, пусть

он там где-нибудь сам живет... А ведь не даст ваш, барон, денщик ни себе ни другим жить. И правильно, и поделом. А не буди душу! Не тобой дана, не тебе тревожить!»

По возвращении на следующий год в О-ск я уже скоро имел случай убедиться, что пророчества любезнейшего Д-ского сбываются. Впрочем, что тут удивляться, не он ли сам был одним из зачинателей всей этой печальной истории. Да еще если вспомнить его мистического спутника, с кем он время от времени общался, да не раз, видимо, с ним чаевничал, обсуждая потусторонние дела запросто, как мы прочие, смертные, обсуждаем погоду?

Не успел я распаковать свои дорожные баулы, как ко мне со стенаниями и воплями ворвалась госпожа С. «Где вы пропадаете, поручик?» «Прошу прощения, сударыня, штабс-ротмистр»,— решил я сразу прибегнуть к строгости отношения. «Какая разница, поручик! Это в конце концов не честно, не благородно. Я ожидаю вас уже целый день! Целую вечность. Ах, ма шер, ма шер но что мне делать, что? К чьему я могу еще припасть плечу в эту тяжкую для меня минуту? Вы должны, должны, обязаны протянуть мне руку дружбы. Ах, не делайте этих жестов, я ненавижу все, что напоминает мне театр! Представьте себе, поручик, он сбежал!» «Штабс-ротмистр, сударыня!» «Поздравляю, но я это не смогу выговорить. Верните мне его!»— и плюхнулась со всеми своими юбками на мою и так довольно помятую оттоманку, помахивая веером у лица, покрытого тусклой бледностью. «И кого же я должен вернуть, сударыня?— спросил я так же сухо, стараясь вытянуть из-под нее еще не прочитанный номер газеты. «Как кого? Конечно же, Абдулку!» «К сожалению, сударыня, не имел чести знать»...— ответил я непреклонно и, бросив свои попытки взять из-под нее газетные листы, заходил по комнате, делая вид, что вот-вот должен выйти вон по делам службы, даже, кажется, сунул какую-то папку под мышку. Но все мои маневры закончились полным фиаско. Госпожа С. и не думала покидать меня, с жаром принявшись говорить какой-то нескончаемый вздор, который, впрочем, отчасти заменил мне газетные новости. Я сел в кресло, закурил сигару и терпеливо принялся выслушивать ее. «Ах, мой друг, это животное, представьте себе, действительно вообразило себя актером. Это то, которое понятия не имело, что такое роль, амплуа, выход! И это после всего того, что я в него с таким трепетом вложила! Неблагодарная тварь!» Она гневно вскочила, встал и я, с надеждой сдвинувшись к двери, но она так агрессивно размахивала костяным веером, что я вновь предпочел усесться

поглубже в кресло. Оказалось, что, да, действительно, театральная жизнь не пришлась по вкусу денщику Абдулке. Поначалу он делал все, чтобы его оставили в покое, даже ухитрился в день по десятки раз вызывать у себя чудовищную рвоту и попасть в лазарет. Но госпожа С. не оставила его и там, вынуждая перепуганного солдата выучивать невесть зачем непонятные сумасшедшие речи. Так всего лишь за месяц она довела этого здорового, видимо, неглупого парня до полного инвалидного состояния. Да простит мне Всевышний мое греховное словоблудие, но без некой потусторонней цепи предопределенностей, видимо, здесь не обошлось, так как из О-ска в это время уже катил на перекладных тот составленный мной приказ о гарнизонном театре из инвалидной команды. И как не сопротивлялся взбалмошной жене батальонный командир, но денщика он своего потерял окончательно. Сам виноват, не бери жену из актрис, тем более на склоне лет. Но оставим в мире заслуженного вояку и вернемся к сюжету. От Абдулки госпожа С. скоро сама отступилась, он действительно стал нездоров умом, что выражалось в истерических беспрерывных кривляниях лица, тем паче, что и без него теперь у нее было достаточно актеров. Какое-то время он поднимал и опускал занавес, но вот в театре появился какой-то ссыльный чахоточный поляк и теперь он принялся донимать бывшего денщика. Со слов госпожи С. выходило так, что как раз не она, а этот поляк нанес непоправимый ущерб его уму. Он принялся учить Абдулку дышать, как дышит лошадь, уверял его, что человек может быть птицей и, что совершенно безумство, живым деревом. Без сомнения, уверяла она, это и было первым толчком к его безрассудному побегу. Однако что удивительно, после сближения с этим персонажем Абдулка перестал кривляться и вдруг стал исполнять роли. Правда, не у нее в спектаклях, а у того же ненормального поляка, которого она из-за мнения местного общества должна была терпеть. Поляк поляком, но небольшие сценки уже в своем будуаре, как я понял, Абдулку она все же опять принудила разыгрывать. Хотя почему принудила? Бывали минуты, когда она умела быть очень очаровательной. Так прошел еще год, больше. Батальонный командир смотрел, смотрел на эти спектакли и взял и обратно сунул Абдулку в строй. И его можно понять, да и должно: солдат стал здоров, так что тут один святой долг перед царем и отечеством. Тогда этот Абдулка и бежал.

Поведав все это на одном выдохе, госпожа С. выжидательно замолкла. «Так чем могу служить, сударыня?»—

сказал я вставая. «Верните мне его, сколько же можно это повторять!» «Как?!» Мое изумление ее нисколько не смутило и она нетерпящим возражений тоном (все-таки жила же она с ротным командиром) заявила: «Поймайте его!»

Жизнь вообще настолько курьезна и неизвинительна, что единственным спасением остается воспринимать ее только как комедию, но на этот раз я не смог даже улыбнуться, просто опрокинулся назад в кресло и так был взбешен, что раскурил свою потухшую сигарету уже без огня. «Ну что вам стоит, поручик? Вы ведь все можете! Вы особа приближенная к губернатору! Если вы думаете, что я влюблена в этого болвана, то это дурно. Что стоит вам поймать одного беглеца?» «Обратитесь в полицию, сударыня»,— стиснув зубы, еле выговорил я. Нисколько не отступая от вихревого сигаретного дыма (в тот момент она пошла бы и на картечь), госпожа С. кинулась теперь уже слезливо, горячо умолять меня: «Там же такие тупицы! Они никогда не смогут его поймать. Они не там ищут. А я знаю, я думала...» «Что тут думать,— отвечал я механически.— Наверняка этот Ваш Абдулка в каком-нибудь балагане». «Да-да-да-да! Так распорядитесь! Прикажите пройти по театрам, проверить гастрольные труппы, расспросить актеров с пристрастием». «Увольте, сударыня! «Но я сама никак не могу! Я — дама. А там пойдут вопросы, ворох почему я и зачем мне. Он все-таки солдат, а я... А муж... как будто бы и не бежал у него солдат! Возмутительно! Ну что мне делать, что? Не писать же подметное письмо». Но я уже не слушал ее, голова разболелась нетерпимо. И потом еще с Петербурга меня стал мучать кашель и грудная слабость. Не помню как мне удалось тогда отбиться от этой особы, возможно, меня спасло то, что почти в тот же день я взял отпуск и выехал на все лето к отцу в Ставку, в степь.

Столичным приятелям я не писал, надеясь самому в октябре быть в Петербурге, но здоровье мое к осени, несмотря на полный курс лечения кумысом, не поправилось, да и в декабре оказалось очень слабым. Так постепенно я пришел к унылому заключению, что и в Санкт-Петербурге мне постоянно жить нельзя. Я строил планы получить место консула в Кашгаре, а в противном случае служить у себя в Орде по выборам. Думал я посвятить себя на пользу соотечественников, защищая их от чиновников и деспотизма богатых, и был выбран большинством голосов, несмотря на то, что меня обвинили в толпе в самых жутких прегрешениях вплоть до того, что я-де «не имею череп гладко выбритый», как предписано правоверному, и не совершаю пять омовений в день, и,

главное на то, что партию моего противника поддерживал сам губернаторский секретарь, баварский немец, оставивший когда-то родной Мюнхен, дабы обирать кочевников в независимой Татарии и на их деньги шить жене и сестрице с имечком, оканчивающимся на «chen», померанцевые платья на цитроновых лентах. Тогда мой противник, уступавший мне в голосах в три раза, отвез в Омск тысячу рублей.

Я много читал обличительных статей, но на этот раз думал: постыдятся, подлецы, и не тронулся с места. Гордость обуяла. К этим же неприятностям прибавились и семейные трения. Когда-то отец был дружен с одним из султанов из оренбургской степи и дал ему слово породниться. Вот и решил с матушкой женить меня на его дочери: будет, мол, ему таскаться. Надо сказать, что предназначенная мне невеста была влюблена в моего брата и писала ему часто в это самое время нежные послания. Я, разумеется, отказался от женитьбы, особенно в таких обстоятельствах, и выразил свой взгляд на супружество. Это совершенно озадачило моих родителей и привело в ужас. Сын против отцовской воли! «Вот на что я воспитал его,— роптал отец.— Не уважил меня и мать на старости лет». Матушка заговорила о своем молоке, даром потраченном. Действительно, с казахской точки зрения это была ужасная неблагодарность и дурно ставила меня в глазах сородичей. Отец был так огорчен, что где-то торжественно объявил, что не намерен более воспитывать своих детей по-европейски. «Они портятся»,— так говорил он в заключение. Но дорогой мой отец, многоуважаемый и высокочтимый полковник султан Валиев, как быть с чувствами? Они ведь не портятся, воспитывай хоть как человека: по-европейски ли, по-африкански ли!

Мои родные — люди добрые, честные и очень неглупые, но все-таки казахи и при том казахи-аристократы и имеют потому множество как национальных так и сословных предрассудков и качеств. Особенно выделяются непомерное упорство и тщеславие (последнее качество можно назвать национальным). Понятно после этого, что они имеют слишком высокое мнение о себе, о своем уме и прочее. И понятно, что всякие споры вызывают у них только раздражение, особенно если оспариваются обычаи предков, которые в народе почти боготворятся. К тому же у казахов много песен (я разумею это слово в смысле, в каком разумели его в средние века, например, «Песнь о Роланде»), бездна поговорок и афоризмов, сочиненных когда-то их умными предками. И теперь на все мои оговорки и доводы они находили кроме личных, еще и аргументы старины, при этом испытывая ко

мне жалость, которую испытывают при разговоре со слабоумными простаками.

Так под град упреков, нравоучений и благоразумных советов покориться прошла вся эта долгая зима. Бросить все и уехать по отличному санному пути я не мог хотя бы просто из-за принципа — губернские власти все еще не могли решиться окончательно припасть к толстой мошне моего противника. Быть же здесь составило мне сплошную муку. Бог с ним, я готов был часами выслушивать аргументы старины, многие из них были действительно забавны и действительно умны, но видеть, вернее, не видеть каждый день глаза влюбленного в ту девицу брата, прятавшего их от меня при любой встрече, представилось совершенно невозможным. Не решаясь открыто заговорить со мной, как со старшим, он, однако, все же боролся за свое счастье, правда, весьма оригинальным способом: выискивал на всех доступных ему дорогах исполнителей баллад о трагедиях разлученных влюбленных и засылал их ко мне. И то, что я не рыдал, выслушивая их под аккомпанемент домбры и даже однажды гармошки и скрипки, и с довольной физиономией записывал что-то, приводило его, наверно, в полное отчаяние, и певцы с каждым разом пели все более и более безысходные варианты драм, в которых уже без смерти никак не обходилось. Наконец, когда мне спели, начав утром и кончив утром уже следующего дня поэму о Баян-Слу и Козы-Корпеш, где жених убит, а невеста убивает себя, воспользовавшись тем же кинжалом, я понял, что задерживаться мне теперь нельзя ни дня. Тут кстати пришло и известие, что на должность султанского правителя в уезде утвержден самим генерал-губернатором не я, а тот богатей пройдоха. Я окончательно отказался от оренбургской невесты и опять бежал в противный мне своими сплетнями и интригами Омск. Нет, не искать правды, ибо правда как раз в том, что у нас на Руси законы пишутся не для генералов, да и генералы больше любят, как мне известно, натуральных казахов, потому что в них, знаете, больше этой восточной подобострастности: «Гирей сидел, потупя взор...» и прочее. Глупо нынче просить удовлетворения свыше. По-моему, это то же самое, что просить конституцию: посадят да потом еще сошлют к Макару на пастбище. В Омске я занялся сгоряча подготовкой юридической реформы и не выходил из архива суда.

Нет никаких сил и желания заканчивать эту историю, начатую весьма не к месту рассуждениями генерала о романотворчестве. Но его жена мадам Асфорд без сомнения права: романы врут, все, что в них есть — вздор.

В те дни листая дела в коллегии, я наткнулся на папку о принудительном возвращении жены некому батальонному командиру. Ба!— воскликнул я, да ведь это же мои старые знакомцы. Вчитался, и по тому, что можно понять между строк, понял, что дело заведено вовсе не от того, что батальонный командир отчаянно скучал по своей супруге в пограничном гарнизоне, а скорее всего потому, что эта госпожа С. совершила нечто такое, что смущало мораль местного высшего света, и быть этой особе не то чтобы в нем, а даже подле него не полагалось. И по слабости своего характера не мог упустить случая шокировать наших моралистов, появившись снова перед нами с госпожой С.

Сколько раз я укорял себя за эту черту! Нет же, снова и снова эпатировал, злил публику. А ей-то что? Обыватель непобедим, пожмет плечами, закатит в возмущении глазки, а сам ты вдруг оказываешься один у той беды, о которой предупреждал когда-то теперь уже знаменитый на всю Россию литератор. И сейчас никто меня не толкал разыскивать эту женщину, тем более, что это оказалось сделать крайне трудно. Во-первых, о ней никто не хотел говорить, затем она сама уже нигде не появлялась. Наконец я ее нашел в третьеразрядной гостинице, хотя какая гостиница! Это был, пожалуй, просто постоялый двор. Спросил хозяина. «А, это помешанная? Извольте, в седьмом номере»,— любезно пояснил тот и провел меня в каморку под лестницей, где на топчане с сырым солдатским одеяльцем сидела изнуренная баба с седыми прядями волос, торчащими из-под кружевного грязного чепчика. «Только вы уж, господин офицер, дверь-то попридерживайте,— предупредил меня хозяин, почесывая себя обеими руками в самых невероятных местах. «А что?» «Как что-с? Мне четвертной обещано, коли продержу ее тута до Вербы». «Пошел вон!» «Слушаюсь! Только дверь-то попридерживайте...»,— сказал нисколько не смутившись хозяин этого сквернейшего места и пошел себе чесаться в темноту коридора.

Признаюсь, я уже был согласен без лишних слов ретироваться, как вдруг она вскочила со своего топчана и, отвратительно кокетничая, принялась приплясывать подле меня. «Ах, поручик! Как я рада вас видеть, идите же сюда, несносный!»

Нет, предпочту все же не описывать далее эту встречу. Только кратко, и только то, что мне удалось узнать позже. Все это время, когда я был в Ставке отца, она разыскивала по городам и весям своего актера Абдулку, бежавшего от бессрочной службы солдата, и ведь нашла его где-то в зата-

ежном Ачинске в какой-то бродячей труппе. Она готова была на все ради него, даже бродяжничать с этим театриком, не имевшем даже понятия о ангажементе, да вот Абдулка напрочь отказался и от нее и от тех денежных средств, которые она еще не успела прожить. В порыве яростной ревности она и сообщила о нем полиции, надеясь, что дезертира насильно вернут обратно в роту мужа, а там, смотришь, и в ее будуар. Его арестовали, но случилось совершенно другое, вернее, то, что и должно было произойти. Абдулку провели сквозь строй. Как она умоляла, просила, заклинала этого не делать и кого только не просила! Но добилась лишь того, что ее перестали пускать в наши салоны за крашеными ставнями. Что же касается Абдулки, то, истощенный голодной и пьяной актерской судьбой, он не выдержал и помер после экзекуции и, кажется, это была последняя кара шпицрутенами в истории Российской империи. Я попытался вывести из этого заточения госпожу С., но она вдруг истерично заупрямилась и испуганно зарыдала. Да и хозяин этой тараканьей тюрьмы снова выступил из темноты и так яростно принялся почесываться, что казалось, вот-вот кинется чесать и меня.

На следующий день я снова был в этом дворе, но оказалось, что госпожу С. часом раньше увез ее муж.

СЮЖЕТ V

О том, как проходит земная слава

По всей степи разбросано множество древних и новых могил, курганов, насыпей и пр.

Эти немые памятники в казахском быте гораздо важнее в географическом, чем в историческом отношении, потому что это единственное, что совершенно неподвижно в жизни народа, и казах соображает свой путь с положением этих могил, как когда-то купцы на европейских дорогах шли по постоялым дворам.

Мола — неопределенное название, под этим определением мы рассматриваем и истинно археологические строения и современные траурные строения, но что мы чаще всего видим? По преимуществу простую, неизысканную насыпь, кучу щебня или какой-нибудь уродливый монумент, слепленный из глины. Этой простотой, безыскусностью и

отличается то, что дано нам видеть. Но некоторые из них следует исключить из этого числа, как, например, мавзолей Ходжи Ясави, мавзолей Суюк-хана, сына хана Аблая, монастырский свод которого рухнул при строительстве и задавил девять рабочих, и хана Абулхаира, военачальника, разгромившего джунгарскую армию и предавшего свой народ ради единоличного абулхаирского трона.

Не менее примечателен материал, из которого строятся такие молы.

В казахском мавзолее и около него выражается весь вкус казаха, его искусство, архитектура, его резьба и живопись.

Созданные не так давно могилы имеют две главные формы: одиночную и курганообразную, при последнем условии мавзолей представляет собой небольшой тип кургана, т. е. сооружение с невысокими дверьми на запад, укрепленными наружным траверзом, и за стенами их можно, при необходимости, укрыться от нападения человек до ста. Эта квадратная форма более других нравится казаху, потому что громадность у него — первое условие величия предмета, и могилы таких форм поэтому устраиваются над прахом важных и богатых личностей.

Многие могилы обложены стенами из необожженных кирпичей. Где заняли казахи это мастерство, неизвестно, но положительно можно сказать, что обожженный кирпич нельзя назвать редкостью в степи, он часто встречается в наших древних постройках.

Казахский кирпич отличается прочностью глины и неровной отделкой; он очень тонок и различной формы судя по потребности: для круглых сооружений — округленный, для пирамид — квадратный и прямоугольный.

Могилы всегда устраиваются на возвышенных местах, караванных или кочевых дорогах и около речки или озера. Это делается и с целью, чтобы проезжий мог прочесть особенную над прахом молитву бата — благословение.

Древние надгробные памятники отличаются большим разнообразием форм, лучшей отделкой материала, употреблением прочных сводов и украшением резьбой. Путешественник, проходя мимо, замечает в своих записях суть произведения народа не дикого, а образованного. Но когда появились первые строения среди этой пустыни?

Постараюсь эту мысль довести до той степени ясности, до которой позволяет историческая истина.

Первоначально следует заметить, что древние могилы по простоте и искусству строения должно разделить на два разряда: на народные могилы с обычными насыпями над захоронением и на палаты, строения, где успокоились души почетных персон.

Страна этих могил, наши степи, были заняты до монгольского периода истории тюрками коренными. Четыре племени, участвовавшие в защите хана Огуза,— уйгуры, каладжи, канлы и карлыки составляли основу тюркского союза.

Были народы, которые по происхождению принадлежали к другому поколению, но подчинялись тюркскому языку, тюркским нравам. Таковы были хазары, болгары, башкиры, мадьяры и др.

Нашествие монголов совершенно изменило население этой страны, самые имена племен потерялись и только некоторые остались именами казахских родов. Старое население, без сомнения, слилось с новым, и здесь на законах монгольских нередко возникали орды, отдельные от Золотой или Волжской орды: Ногайская, или Мангытская орда на Урале, Синяя орда до Сейхуна и Тюменская орда рода, Шейбанидов.

Вероятно, ханы всех этих орд завещали хоронить себя в глубине той степи, которая породила их, так мы находим могилу основателя Мангытской орды Идигея на одной из Улутавской вершин, которая и носит название этого великого полководца.

О беке Идигее, эмире тюркского племени мангыт, одним из первых упоминает в своем сочинении «Извлечения из Джами ат-таварих» Кадыргали Жалаири, выходец из казахского племени жалаири.

По Жалаиру неугомонный Идиге, где бы он ни находился, первым же делом сражение или «страшную сечу чинил». Идиге у него отличается и острым словцом, как-то во время какого-то очередного зимнего похода сей славный витязь на жалобы и мрачные предсказания о переменчивости погоды и судьбы человеческой изрек: «Волга скоро не замерзнет, Идиге скоро не умрет». Ничего не скажу о нраве великой реки, а сам бек Идиге протянул действительно, несмотря на всю свою боевитую непоседливость, довольно долго, и погиб только на 63-м году от ран в битве с неким ханом Кадырберды.

Однако не только ученые мужи, но и народы сочиняли

сказания об этом легендарном победителе Великого литовского князя Витовта при Ворскле и фактическом единоличном управителе Золотой Орды при четырех ее ханах.

Есть и у моего народа своя сага о Идиге-беке. И если Жалаири писал свою историю, сидя в Москве, на никому не понятном там языке, при этом нисколько не смущаясь, посвятив ее своему покровителю Борису Годунову (хотя черт его знает, быть может, действительно Годунов татарин?), где-то в середине XVI века, то наш эпос-джир, должно быть, составлен в начале XV века.

Это доказывается многими старинными словами и оборотами, которых теперь нет в современном казахском языке. Примечательно так же и то, что в этой целой рапсодии нет ни одного персидского или арабского слова, тогда как теперь, с распространением магометанской религии, даже в обыкновенном разговоре между простым народом, вошли в употребление слова из этих языков.

В последнее время моего пребывания в степи джиры почитались уже устарелою формою поэзии. Можно сказать утвердительно, что эта форма сказания под аккомпанемент двухструнного кобыза вышла из моды со смертью знаменитого певца-импровизатора Джанака, он был родом каракесек, из Каркаралинского округа, и вряд ли я теперь осмелюсь претендовать о передаче мной и всей рифмы и размера этого эпоса. Ведь все строки и мелодия из поколения в поколение передавались изустно особым сословием певцов, как в древней Греции поэмы Гомера. Но небольшой отрывок из «Эдиге» я все же попробую передать.

Первый список джира о Идиге сделан был моим уважаемым родителем, большим поклонником этого великого тюрка, которого он без всякого сомнения считал, пусть не прямым, но одним из наших предков, впрочем и без всяких на то доказательств (после моей аудиенции у Императора, как-то он встревоженно спросил меня: «не проговорился ли я там у русского царя о том, что наш Идиге сжег Москву». Это чуть ли не пять веков назад!) Затем этот же список дополнялся из других источников и, наконец, мы свели его с моей записанной версией.

Естественно, я не буду следовать тем законам джира, когда герои обязательно свои монологи излагают стихами.

Второе, разрешите мне не всегда следовать различным историческим хрестоматиям, при всем моем уважении, скажем, к работе Ибрагима Хальфина, изданной совсем

недавно, в 1822 году. Сухое изложение фактов и так доминирует в моей писанине, а хотелось бы изложить нечто более художественное, пусть даже с немалой толикой народной фантазии. Я думаю, это и интересней писать, и интересней читать.

Только коротко, и по Хальфину, и по древней рукописи Ибн-Арабша можно достоверно заключить, что Идиге был происхождения духовного, хотя тот же Ибн-Арабша вдруг называет его дьяволом Хромого Тимура.

Идиге был потомком Святого чудотворца Баба-Тукласа в 9-м колене.

Предание о происхождении самого Баба-Тукласа уже как бы заранее выдвигает его потомку особые дарования.

Случилось так, что некто, путешествуя, наткнулся на череп с надписью на лобной кости: «Я живой убил несметное число людей, мертвый могу убить сорок». Человек сжег этот череп, пепел взял в узелок, привез домой и отдал дочери на хранение. Дочь из любопытства развернула тряпку, и, увидев белый порошок, пальчиком попробовала его на вкус, отчего забеременела и родила сына, названного Баба-Тукласом, которого многие мусульмане признают позже третьим по святости после Пророка.

Баба-Туклас будучи еще учеником обнаружил необыкновенную проницательность ума. Однажды хан той страны, где он жил, увидел сон: будто сидит он на мосту, а из реки вынырнули драконы, двадцать с одной стороны, двадцать с другой, имея гастрономическую цель — сожрать его.

Хан тут же созвал своих придворных ученых и велел им растолковать этот сон. Ученые в своих догадках зашли в тупик и подставили хану своего ученика. Юный Баба-Туклас не стал отнекиваться и лишь потребовал, чтобы его оставили с ханом с глаза на глаз. Когда ученые мужи вышли вон, Баба-Туклас разъяснил хану, что эти 40 драконов и есть никто как 40 его придворных ученых, взявшихся тайно и по очереди спать с его любимой супругой. Хан проверил, действительно эти философы-алхимики да звездочеты под видом старух в черных одеяниях так и шастали каждую ночь в его гарем!

Ученых казнили, и тем исполнилось предсказание, выписанное на найденном черепе.

Отца Идиге звали Кутлук-кия. Однажды на берегу реки он увидел голубицу, сбросившую на песок свои голубые перья и обернувшуюся девицей. Одни заверяют, что она, Кун-слу, была дочерью Солнца, другие клянутся,

что она была дочерью духа Албасты. Не могу быть судьей в этом споре, но знаю точно, что же было дальше. Девица погрузилась в воду, а Кутлук-кия захватил ее голубиное одеяние. Так он принудил ее стать его женой, правда, с одним условием: никогда не смотреть ей в затылок. Естественно, что молодой муж нарушил свою клятву и увидел, когда она расчесывала свои золотые волосы, прямо под гребешком ее мозг. Тотчас же женщина вновь превратилась в птицу и лишь успела, отлетая, крикнуть: я тяжела твоим сыном, ищи младенца на берегу Нила-реки.

Так родился Идиге (титулов не перечисляю, их невероятное множество), а имя его свидетельствует, что он родился в безлюдной пустыне.

Опечаленный Кутлук-кий вернулся с сыном к хану Тохтамышу, у которого прежде ходил в приближенных. В чем-то он скоро провинился перед ханом, и тот его казнил, хотел отрубить голову и его малолетнему сыну, но один из учителей Идиге спрятал его среди мальчишек-пастухов.

Первым же делом Идиге переборол всех остальных мальчишек, отнял у них одежду и, устроив из нее кучу, взгромоздился на ней и произнес: «Вот я сел на трон Тохтамыша!», сверстников своих голых рассадив вокруг.

В это время мимо ехали на верблюдицах двое пожилых людей и возмутились, увидев, что дети не приветствуют их: «Разве мы не старше вас летами?!» «Разве вы старше, а не мы — двадцать десятилетних детей?» — отвечал им Идиге. «Разумеется, мы,— отвечали путники,— каждому из нас по пятьдесят лет». «А нам всем вместе — двести,— заявил им Идиге.— И потому вы первые должны сойти с коней и приветствовать нас».

Старички растерялись, но затем, восхитившись находчивостью малыша, предложили ему рассудить тяжбу: «Ты видишь меж наших верблюдиц верблюжонка, каждый из нас считает, что этот верблюжонок родился от его верблюдицы, и никак мы не можем помириться». Идиге, недолго думая, отвечал им: «Ваша беда ничего не стоит, бросьте верблюжонка в глубокую реку, и та верблюдица, которая бросится за ним, и есть его мамаша». Путники сразу же так разрешили свой спор.

Шли так же мимо овечьего стада в город к судье и две женщины с малышом, и они попросили пастуха-мальчишку помочь им в их деле. Одна женщина заявила, что это дитя было выкрадено у нее еще в колыбели, другая

же твердила, что это ее собственный ребенок, и что девять месяцев она носила его в своем чреве и девять месяцев ее крестец сгибался под его тяжестью, а слова ее соперницы чистая напраслина. Тогда Идиге взял и поставил ребенка между двух этих женщин и, вынув свой родовой меч, заявил, что разделит этого малыша пополам, дабы у каждой было хоть по половинке, но сына. Одна тут же вскричала: «Не смей! Отдай лучше сына моего этой женщине, лишь бы он жил!» «Так ты и есть настоящая мать»,— указал на испугавшуюся женщину Идиге, вторая же баба со стыдом бежала прочь.

Так возникла слава о мудром отроке, пасущем в голой степи баранов, и настал день, когда сам хан Тохтамыш призвал Идиге к своему двору. И надел на него широкое платье с завязками на груди. Черного соболя шубу подарил, чтобы носить ее поверх платья. Дал ему серого иноходца, к которому был привязан кожаный барабан. Белого кречета — птицу посадил ему на руку. И велел: «Ты, свободный, путь твой свободен, а держава моя столь велика, что всякая свобода в ней лишается смысла. Будешь первым при дворе моем, придут споры из Крыма, решай их, Идиге, придет тяжба из городов, что на вечной реке Сырдарья, решай их, Идиге, а то что происходит на Идиле — Золотой Орде, то тем более твоему суду подвластно».

Скоро Идиге все споры кончил, всех тохтамышевых неприятелей побил, и начал хан жить спокойно, с великим достоинством.

Но как всегда, принялись тут бабы воду мутить.

В один из дней жена Тохтамыша говорит мужу: «Этого наемщика,— указывая на Идиге,— предназначенье вашего предназначенья выше». «Эй, глупая женщина, как ты это можешь знать?!» — встревожился хан.

Ханша же, не смутившись, отвечала: «Когда он по утрам входит в вашу опочивальню со словами: «Пусть Бог будет вашим спасителем», вы, сами того не замечая, так пугаетесь, что вздрагиваете». «Ложь!» «Ах, если вы мне не верите, то разрешите, я большой иглой приколю полу вашего халата к вашему же ложу, тогда все и прояснится»,— не сдавалась искательница правды. Хан на то дал согласие, и когда на следующее утро Идиге вошел во внутренние покои властелина со своим обычным приветствием: «Алланыз жардем болсын»,— великий хан Тохтамыш, государь одного из самых крупных государств первой половины XIV века, так вздрогнул, что два конца

переломившейся иглы, разлетевшись в разные стороны, намертво впились в стены.

Дальше интриганке совсем ничего не стоило убедить на примере блюда с простоквашей, в которую была подмешана ее моча (каковы приемчики!), нервного супруга в том, что молодой его визирь вот-вот готов вероломно расчленить его империю. И новоявленного бека Идиге решено было убить.

На этом ли зиждилась размолвка Тохтамыша с Идиге или нет, действительно ли августейшая особа гадала на своей моче — не важно, но то, что в те времена в Золотой Орде царевичи и беки резали друг друга уже без всякой надобности, всем известно. И было бы действительно скучно вспоминать такое, если бы народные акыны не разукрасили бы эти истории своей неуемной фантазией, в которой и конь говорящий и Луна — сестра человека.

Быть может, поздно, но разрешите согласиться все же с вами, немец — ты — мой — генерал, месье Асфорд. Ваш бывший адьютант нынче без колебания отказался бы читать и Жорж Занд и г-на Гоголя ради вот таких баек о Идиге. И дело не в каком-то абстрактном патриотизме, просто это и есть мой кейф.

Но я отвлекся.

Ханша предложила взволнованному мужу напоить Идиге и зарезать. Трудность была в том, что и в питие наш герой был совершенно неутолим, но нашелся способ напоить и его. Коварная особа придумала собрать на той весь цвет народа и назначить Идиге главным виночерпием, тогда обязательно каждый возжелает выпить именно с ним. Но разговор этот тайный слышал шестилетний ребенок по имени Ангусын, друг Идиге.

Настал назначенный ханом день, приехали десять тысяч лучших людей для празднеств во дворце Алтын-Сарая. И каждый из них принялся потчевать Идиге: «Пей, батыр, пей! Выпей со мной!»

И Идиге из-за уважения к этим знатным персонам пил, но выпивал из чаши лишь половину, другую половину вина выливал в козий бурдюк, подвязанный им самим под свое платье. Хан смотрел на раздувавшуюся талию своего нового врага и потирал ладошки, время от времени посылая человека узнать, готовы ли те 60 воинов-силачей, посаженных им в засаде на пьяного Идиге. Этим-то коварным батырам мальчик Ангусын незаметно подрезал левые стремена и, вернувшись к всепьяному застолью, шепнул старшему другу: «Готов твой конь огромнокопыт-

ный, белый в крапинку Тарланбоз, готов он бежать ночь и день следующий весь, едва ли придется биям, сидящим на почетных местах, сегодня насмехаться над тобой, Ангусын я называемый, не заставляй меня говорить долго, припомни последнее сказанное между нами условие».

Вспомнил раскрасневшийся от вина Идиге свою беду, и, метнувшись, как стрела, одною ногой коснулся порога, другая уже была в стремени коня Тарланбоза, и остановился только в степи между Уралом и Волгой.

Между тем Тохтамыш, упустив его, созвал лучшие умы своего государства и держал с ними совет. Но никто не смог помочь ему. И вместе с ним сильный народ закружился на месте одном, растерялся.

Привели, наконец, к хану сухоногого старика в высокой алтайской шапке, по имени Супе-жырау. Немощная челюсть его, давно лишенная и следа от зубов, была подвязана к голому черепу шелковой лентой. Ленту эту развязали, и высохший весь, как травинка зимой, старец просипел: «Стар я, стар, я видел все, сначала был Бастык-хан, его, я, старик, видел, после него был Кидей-хан, его я, старик, видел, после того Алахан, его я, старик, видел, после него Кара-хан, его я, старик, видел, после него был безухий Назар-хан, и этого я видел, храброго Чингисхана, покорителя Вселенной, натягивавшего на двенадцать ладоней стрелу, я видел, прадеда твоего Домбаула, построившего башню в сто двадцать аршин, я видел, хоть ты молод, Тохтамыш, я, старик, достигший ста восьмидесяти пяти лет, вижу. Оглянусь ли я на прошлое, будет ли польза от гнева? Испытаю ли будущее, от угроз и брани выйдет ли толк? Я видел много царей и ханов, но такого широкоплечего, вислогубого, бледнолицего джигита, как Идиге, я не видел. Он один уйдет от тебя, высокие вершины гор он пройдет, попирая стопами, в безводных пустынях откроет светлые источники, и снеговая туча обойдет тебя, поджарый голодный хорек, сзади и спереди, рысью волка, отъевшего человечьего мясца. Он погонит вас меж двух рек, выбьет серебряные твои двери и, не жалея, покроет собой полногрудых твоих красавиц, стерев с их лица алые румяна».

«Что же мне делать?» — в отчаянье вскричал хан. «Он еще не перешел Волгу,— отвечал старец Супе-жырау.— Пошли девять своих богатырей, пусть словами уговорят его вернуться. Вернется, держи при себе»,— и сказав это, старец опрокинулся на спину и почил в одно

мгновенье, но на всякий случай ему снова подвязали челюсть, чтоб не болтал там, на небесах, лишнего.

Послал вслед за Идиге хан Тохтамыш девять батыров со словами: «Обманите, уманите, привезите Идиге, возьму я его опять в приближенные, а если сможете, то в пути срубите ему голову».

Батыры нашли Идиге на крутом берегу Волги. Принялись они уговаривать героя вернуться, суля ему все блага и более того, что он имел прежде. Прибегли они и к приемам, для нас, испорченных цивилизацией, несколько вольным, но я думаю сильным и по-человечески естественным: «Вернись, батыр, тобою взятая девица, дочь Ал-Умур-хана, прекрасная, как полная луна, соскучившись, изорвала на себе ткань и желает, чтобы въехал ты в нее перед вечерним холодом. Хан Тохтамыш, желая тебя, не сердится на тебя, смирись перед его гневом и собственными устами проси прощения. Иди, Идигеу! Оставь свое зло».

Однако как бы долго и упорно ни уговаривали все девять посланников хана беглеца, он был непреклонен: «К Тохтамышу я не поеду кланяться и прощения перед ним не устрою, а стрела моя цела и прошьет свод юрты его. Я, раз сев на коня, с него не сойду, и отказавшись от принятого намеренья, только сделаюсь бабой». Дальше он сказал то, что угадал старец Супе-жырау, а насчет девицы высказался вообще гениально: «Не буду я вместе с нею петь, ни разговаривать, ни смеяться, не обниму ее под воротник за голую шею и не лягу под чий с ней перешептываться — я совершенно с некоторого времени оглох!»

Стоит ли говорить о том, что такой молодец не только не поддался соблазну снова уложить себя в почти рабское ложе, но и увлек с собой всех девятерых батыров Тохтамыша. Он с ними отправился за войском к Темир-хану, давнему врагу хана Золотой Орды.

Труден был их путь, шли они пустыней да солончаками не один месяц, и стали тохтамышевские батыры роптать да пугаться смерти в песках. А освободиться они от такой гибели теперь могли только прежде убив Идиге.

Пригляделся к ним Идиге, выждал, и вот случай: переползла перед ним дорогу змея с девятью головами, велел ее гнать Идиге, змея кинулась в нору, но только одна ее голова вошла в земляную дыру, а другие мешали ей всей скрыться. Батыры убили плетками ее. На день следующий встретил Идиге с товарищами другую змею, но теперь с одной головой и девятью хвостами. Снова приказал

батырам Идиге гнать змею, но она скоро исчезла в первой же норе, и хвосты голове нисколько не помешали. И тогда Идиге только одно и сказал: «Видите?» И батыры успокоились.

— «Эй, девять друзей, я — десятый! — воскликнул Идиге.— И мои плечи устали от езды, и мое горло пересохло от жажды, и брюхо подтянулось от голода, но я достану еду, я всем вам дам новые платья и заплачу за лошадей, если эти издохнут. Зарежем самых худых лошадей, напьемся, как вина, солончаковой жижи, а если все же кто-то из вас умрет, товарищи мои, мы прочтем над ним молитву, зажжем огонь и, омыв его тело, похороним. Не говорите вполовину, говорите сразу, а пока я жив, вы не умрете».

По канонам классических драм Фердоуси и Шекспира в следующем акте должно обязательно произойти ясновиденье или герой должен увидеть пророческий сон. Так оно случается и здесь.

Идиге видит сон и, проснувшись в испуге, восклицает: «Эй, девять товарищей, суюнчи — радость, вставайте, одевайтесь, опоясывайте сабли, умойте лица и руки, я сегодня видел сон. Да будет этот сон хорошим предзнаменованием и пусть обратится все худое в нем на худого толкователя. Объясните мне этот сон, товарищи! Видел я во сне сначала, что сел я на белую лошадь с позолоченной гривой, потом, превратившись в белого кречета, я взлетел в небо и разговаривал с летающими там ангелами. Спустившись оттуда, я погнался за серым гусем и, схватив его, отлетел на Тор-гору и принялся клювом разрывать его грудь. Что бы это значило?»

Девять друзей-батыров долго думали, толковали друг с другом и пришли к такой разгадке: скажут — паси лошадей, будь табунщиком; увидишь принцессу, не беги прочь, говори с ней; найдешь непобедимого врага — смерть его в его груди.

Вот!.. разгадали сон и поехали дальше. И в один прекрасный день увидели вдали два шатра, белый и синий.

Встретили их грозно: «Кто такие? Мы знать вас не желаем, а если думаете жить, идите к нам в пастухи».

Идиге, смирив свою гордыню, отпустил своих товарищей, а сам принялся пасти сорок красивых коней, посылая тайно своим друзьям мясо и кумыс.

Однажды из белого шатра вышла девушка и нежно с ним заговорила. Табунщику Идиге угрозой кары запретили в этом стане говорить, но он вступил с ней в беседу. И узнал, что она дочь Темир-хана и похищена от отца

непобедимым великаном Кабантином-Алпом. «Если я убью этого Алпа,— спросил у девушки Идиге,— и доставлю тебя твоему народу, будешь ли ты счастлива?» — «А! — воскликнула дочь хана.— Не я одна, но и отец мой». «Тогда скажи мне, когда Алп-похититель уснет». Через некоторое время девушка передала Идигею семь с половиной баурсаков, что означало, что великан заснет с этого дня на восьмой во второй половине суток. И принялся Идиге сам себе мастерить лук, но если его товарищи, все вместе взявшись, могли натянуть тетиву этого лука, то он его выбрасывал и делал другой. Наконец и девять батыров не смогли справиться с новым луком Идиге, и он не сломал его. А стрелу Идиге выковал с наконечником равным целой бараньей лопатке.

И вот настал восьмой день, солнце склонилось с зенита, и сказал Идиге друзьям: «Молитесь Богу, сегодня будет весело». Он направился к синему шатру, где на ложе свое возлег великан Кабантин-Алп.» Открой же ему грудь»,— крикнул он дочери Темир-хана, и та исполнила его приказ. Идиге натянул стрелу с опереньем из крыльев ворона и, пустив ее, перебил грудь Алпа пополам.

Нижняя часть Алпа осталась биться в конвульсиях на окровавленном ложе, но, несмотря на это, великан кинулся навстречу Идиге и успел схватить за уздцы коня убийцы. Однако кровь хлестала из него, как водопад, Обессилел Алпа и упал навзничь, завопив: «Гадатели земли моей мне говорили, гадая, что я умру от витязя, рожденного Святым, докажи же!» «Смотри! — воскликнул Идиге.— Вон гробница святого Баба Тукты, я вызову его дух,— и сойдя с коня, встал перед степным могильным склепом на колени и вознес молитву. И чудо, над сводом могильника встал дух Баба Тукты и произнес: «Сын мой, ты поторопил меня! Я просил Бога за твое потомство, но теперь ты сам будешь счастлив и могущественен, но потомки твои — львы, тигры, волки попадут под власть неверных»,— и исчез. Увидев такое явление, великан Кабантин-Алп промолвил устало: «Согласен, ты есть ты»,— и скончался.

Сам Идиге послал к хану Темиру радостное известие об освобождении его дочери, велел резать скот и возводить праздник. Народ поднял знамена веселья и торжества.

Одна только дочь Темира ходила грустная и, прежде чем дать себя увести на постель святого супружества, сказала Идиге: «Знай же, прежде мною Алп наслаждался, и мне знать надо: беременна я от него или нет. В тот день, я помню, вот эта болыга играла с жеребцом, если

она не тяжела, я тоже». Кобылу зарезали, вскрыли ее утробу и убедились, что и дочь хана холостая.

В скором времени пришли гонцы от хана Темира и возгласили Идиге его правой рукой, а темировская дочь родила ему через десять месяцев сына.

Наследника Идиге завернули в соболиные меха, уложили в золотую колыбельку, покрытую тканным из серебра пологом. И назвали его Нуралин, а в знак того, что он есть потомок государя, стали звать его не иначе как Хан-Нуралин.

Вообще в нашем племени рождению сына придается огромнейшее значение. Молодой мужчина, не имеющий еще детей, принимается в семье родителя едва ли еще сам не за ребенка. И я, несмотря на свои усы, все прохожу у своих родителей за дитятю и, пользуясь этим до сих пор бессовестно, беру у них иногда на содержание, так, на мелочи — съездить в Париж.

Но наконец и я твердо решил стать отцом, дело это не хитрое, но крайне благородное. Тем более, если раньше родитель намекал мне об этой моей миссии крайне деликатно, скажем, давая народившемуся моему очередному племяннику имя Жан-Мухаммед, этим как бы подчеркивая, что он должен был родиться у сына его Мухаммеда-Ханафии, а не Жакупа, то теперь в письмах откровенно сердится на мое «пустое» жительство на земле. Все! Женюсь! Безоговорочно. Надо еще раз попросить услужливого султана Тезекова держать от меня подальше лошадей, не дай бог кто-то оставит рядом оседланного жеребца!..

Однако оставим никчемные подробности моей жизни и вернемся к эпосу, и именно к тому месту, где самым нагляднейшим образом показывается, как много может значить для судьбы человека его сын.

Хан-Нуралин, будучи уже двенадцати лет от роду, играя однажды в бабки, выиграл у всех мальчишек битки и, когда они принялись просить его вернуть им их, он согласился при условии, если они сейчас поставят на кон тащившегося в это время мимо старого бродягу. Мальчуганы не долго думая схватили старика и объявили его рабом на кон. Больше всех веселился юный Хан-Нуралин. Тогда пыльный бродяга, поняв, что все мольбы оставить его в покое бесполезны, закричал в отчаянье: «Эй, Хан-Нуралин, сын беглеца, вместо того, чтобы оставить старика на кон рабом, лучше бы пошел и отомстил хану Тохтамышу, который прогнал твоего отца из его же народа!»

Хан-Нуралин в тот же миг навсегда бросил детские

забавы, помчался к отцу и спросил с порога: «Отец! Не осталось ли у тебя какой-нибудь неотомщенной старой обиды?»

Располневший от своего восточного счастья Идиге не смог сразу вспомнить о Тохтамыше, а вспомнив, сам встал и пошел просить у хана Темира войск: «У меня путь через сорок черных гор, путь сорокадневный в безлюдной степи».

С войском Тимура-хана Идиге пошел на Тохтамыша. Одно его крыло, сразу приотстав, бежало от страха назад. Второе крыло, приняв миражи озер за воду в степи, заблудилось и сгинуло. Лишь только центральная фаланга довершила поход во главе с Идиге и Нуралином, да и то в ней воинов осталось — пальцев одной руки хватит сосчитать. Подъехали они к Черной горе, и говорит отец сыну-удальцу: «Вот сторожевая гора Тохтамыша, отсюда до его Стана всего полтора дня пути. На этой горе сидит железная старуха с вороньими лапами, поднимись на нее!» Хан-Нуралин вынул меч и пошел вперед, но мудрый Идиге тут же остановил его: «Постой, сын. Можно мечом разрубить даже гору, но нельзя с обнаженным мечом пройти ее незамеченным».

Идиге набросил на свои плечи черный платок, концы платка взял в свои руки, то же сделал за ним и Хан-Нуралин. И они поднялись на вершину, размахивая углами платков.

Увидела их старуха, но растерялась, не может понять, кто же это мчится: люди или орлы? Еще внимательней вгляделась старуха с вороньими ногами в летящие силуэты и решила, что орлы. И не дала сигнала тревоги своему хану.

Так отец и сын оказались «на краю народа» им с воли тохтамышевой враждебного и на край этот смело наступили.

Затрепетал под ступнями героев народ, растерялся, ибо своим молниеносным походом Идиге оставил им возможность или умереть или покориться. Сам Тохтамыш велел встречать Идиге с сыном зажженными очагами и кипящим в котлах мясом, а себе выбрал путь беглеца. И, отъезжая из родных краев, сказал: «Эй, Идиге, не гони за мною смерть, что в ней сладкого? Ты был одним из моих витязей и бием моего престола, ездил ты всегда на лучшей мухортой с белым лбом, даренной мной; ты всегда отличался почтительностью к старшим и младшим никогда не давал злой воли, и если сегодня исполняется предсказания Супе-жырау, то я в этом уже не виновен».

Затем Тохтамыш облачился в свой панцирь с девяносто девятью стальными бляхами, взял в руки копье с сосновым древком и сел на своего гнедого, к гриве которого была привязана колотушка, предмет крайне необходимый для усмирения горячих жеребцов. И отъезжая, зарыдал, прощаясь со своим царством, награждая его целым рядом превосходных эпитетов: «О народ мой, богатый молоком, породнившийся с моим отцом и матерью, о народ мой, ездивший на белых конях, и т. д. и т. п.» (здесь в записях эпоса особенно много неясностей и текст нуждается в основательной корректировке, но предположим, что вся эта невнятица произошла от горьких рыданий самого хана, потерявшего от горя способность к ясной речи, и не будем винить пересказчиков, им от меня за их труд и страсть и верность к преданьям старины только земной поклон).

На прощанье хан Тохтамыш верным людям своим сказал, что едет в Тилькуль и там намерен жить, но вернуться грозился через тринадцать лет. Добрался он до далекого Тилькуля, запыхался, снял с себя панцирь, выпил у одной старухи кумыса, но вдруг на него вновь напал страх, и он побежал дальше без доспехов и цели.

Между тем Идиге, устроившись на тохтамышевском престоле, одну дочь хана Тохтамыша взял себе, другую отдал в жены сыну своему Хан-Нуралину. Однако юный батыр был гораздо неугомонней своего отца и, даже не прикоснувшись к своей невесте, умчался догонять Тохтамыша. Сначала он заезжает к той старухе, у которой свергнутый хан пил кумыс, перемешанный страхом, споткнулся там об панцирь, брошенный беглецом, но и это его не остановило.

В этот день доехал Тохтамыш до озера Киюкюль и устал бояться, на озере вода всколыхнулась и закричала птица-чибис. Хан запел: «Стой, конь мой, еще наскачешься, сердце мое удрученное, не колотись, сожмись, когда мы сшибемся один на один с Идиге, я успокоюсь; не падай, копье, не колыхайся в моей руке, как ветка на ветру, в битве кровавой ты переломишься. Напрасно ты весело шуршишь, зеленая трава, если я после битвы останусь жив, я приду сюда со всеми своими табунами и стадами, зря не волнуйся, глупое озеро, если я напою из тебя мои табуны, ты станешь просто грязным болотом. Не кричи, чибис-птица, если я приду сюда со своим народом, то велю сокольничим пустить на тебя черного ястреба и ты поймешь, как бежать от родных берегов».

Чибис взлетел высоко и принялся кружиться над головой Тохтамыша, и, увидев издалека кружащуюся в небе птицу-чибис, Хан-Нуралин направил скоро туда своего коня. И наконец столкнулся с Тохтамышем.

Хан и батыр приветствовали друг друга кратко: «Салем!» «Стреляй-ты прежде!» — предложил Нуралин. «Нет, ты первым стреляй»,— отвечал хан. И все же Тохтамыш начал битву, три стрелы его не смогли пробить на Нуралине тот панцирь, что он нашел на дороге. И тогда хан сказал в отчаянье: «Я погибаю от своего же оружия!» И неугомонный Хан-Нуралин подъехал к нему и снес саблей с него голову, привязал башку тохтамышеву к седлу своему и рысью поехал назад.

Возвращаясь к отцу, Хан-Нуралин встретил черного всадника и разозлился на него за то, что тот не уступил ему дорогу. Юный богатырь недолго думая взмахнул своей секирой и ударил ею дерзкого незнакомца, но лезвие секиры только прошло через тело черного всадника и нисколько ему не повредило, не пролив на землю ни капли крови. Тогда Хан-Нуралин в изумлении встал перед этим необыкновенным лицом. Черный всадник же проговорил: «Ты смел и дерзок, Нуралин, исполнил ты свое желанье, ты с панцирем тохтамышевым убил самого хана. Доволен своей работой. Знамя Тохтамыша было счастливо, народ при нем процветал и знал одно лишь изобилие, так за что голова его приторочена сейчас к твоему седлу?» Отвечал ему Нуралин: «Что мне нужды до изобилия при нем в народе и до его счастливого знамени. Я сел на коня и срубил ему голову, как хотел того я сам». Тогда черный всадник в черной чалме вздохнул и сказал: «Эй, Нуралин, Нуралин, не сбудутся твои желания, посмотри на эти четыре звезды, сияющие в ночном небе, они показывают, что придет время, и снова народом будет управлять новый султан, но не ты. Сзади тебя взошли еще шесть звезд, и это значит, что сын Тохтамыша султан Кадыберды, сев на гнедую лошадь, сделает и тебя сиротой». «Не будет этого,— отвечал Нуралин.— Я отца своего защита!» «Да, ты научишься, Нуралин, заканчивать дело миром, но звезды уже взошли»,— заключил черный всадник и отъехал в ночь.

Смелый Нуралин не решился его преследовать.

Между тем старый евнух тохтамышева гарема уговорил дочь хана, предназначенную Нуралину, подложить под платье на брюхо подушку и сделаться такой же, как ее сестра, отяжеленная уже самим Идиге.

Вернувшийся наконец через шесть месяцев с похода, Нуралин увидел, что и его жена беременна, и, отбросив голову Тохтамыша в сторону, кинулся на отца своего с саблей. Творивший в это время намаз Идиге молитвой лишил сына чувств. Очнувшись, Хан-Нуралин снова бросился с угрозами и обидами на отца, и снова Идиге лишил его сознания, придя в себя в третий раз, пламенный Нуралин сел на коня и навсегда покинул свой родной народ и огорченного родителя. Отъезжая, он воскликнул: «Я соколом согнал с дерева ворона и сам сел на ветвь, я переплыл Волгу, широкую, как небо, и разбил плот змеи. Если я пролил в воды кровь, то откажусь от нее и пить буду только вино, если я заморил черного аргамака, то оседлаю крылатого тулпара, если я выжег прошлогоднюю траву, то коней буду пасти на пахотных нивах, если я поднял руку на своего отца, то поеду в Мекку, обойду три раза храм Создателя и, надеюсь, буду прощен».

Разрыв с сыном подкосил и самого Идиге, он стал томиться душой, и мысли его были печальны: «Что хорошего быть ханом, когда поколеньям будущим мы не оставили достойных примеров?!»

Идиге совсем забыл себя, отпустил от руки своей народ и лег в тоске в отдаленном кочевье.

Подлый евнух тохтамышева гарема тут же дал сигнал сыну Тохтамыша Кадырберды, и тот, не таясь, проник к Идиге. Вошел он в юрту Великого воина и Мудрого правителя и сел на грудь лежавшего Идиге. Был еще в силах сбросить с себя пришельца злого Идиге, но холодный ум уже остудил и сердце. В досаде только Идиге взял одной рукой другую руку свою и переломил ее с хрустом, на принца же Кадырберды и не взглянул. Кадырберды же посидел, встал и ушел, отдав приказ зарезать евнуха гарема.

От позора такого глаза Идиге закатились, и он взмолил аллаха о кончине своей, и Создатель смилостивился над ним и послал к нему ангела смерти.

В самом центре казахской степи вы еще можете видеть место, где нашел свое последнее прибежище легендарный Идиге. Могила его нынче — простая груда щебня, вероятно, она прежде имела величественную форму, но разрушилась; достоинство ее поддерживается лишь неприступностью горы, на которой она стоит.

Sic transit gloria mundi.

СЮЖЕТ VI

О том как мертвый дружил с живым

Народ наш имеет богатую и не лишенную поэтических достоинств разрастающуюся литературу, более близкую к индогерманскому эпосу, чем к восточным произведениям этого рода. Всегда при желании вы услышите в степи нескончаемые сказки, где героями будут трое братьев, и младший, наивный простак, обязательно будет победителем. И в то же время есть у нас и свои особенности, редко встречаемые у других народов. К примеру, почитание и поклонение перед умершими.

Человек, умирая, становится сам каким-то божеством, это, признаю, крайний спиритуализм. Но идея недурна и замечательна, особенно потому, что не имеет мифологических заблуждений и дает полный простор общественным законам. «Поклонение есть высочайшее удивление»,— говорит Картейль. Природа и человек, жизнь и смерть были предметами высочайшего удивления и были всегда преисполнены неисследованной тайной. Природа и человек! Скажите, что может быть таинственнее и чудеснее природы и человека? Необходимая потребность познать мир с его чудесами, вопрос о жизни и смерти, об отношениях человека к природе породили поклонение перед Вселенной, в которой составляют единое и сама природа, и сам человек, и духи умерших людей.

Человек приписывал небу, солнцу, луне власть над собой, влияние чего нельзя отрицать, но влияние это действовало на него только в этом мире от рождения до смерти. Он мог родиться под особенным сочетанием звезд — чудным образом и умереть от гнева природы. Но после смерти эта власть над ним прекращается, он сам становился духом — аруахом. Люди при жизни великие, сильные становились и всесильными, всемогущими аруахами, мелкие натуры и по смерти ничтожными тенями. Чингисхан после смерти был почитаем как бог. У казахов почитание аруахов до сих пор в силе. Они в трудные минуты жизни призывают имена своих предков, как мусульмане своих святых. Впрочем, после того, как некий Ходжа Ясави принес и внедрил в степь свою еретическую теорию мусульманства, все спуталось. Духи стали святыми. А так как по учению Ясави, которое по сути есть слияние тенгрианства и мусульманства, бог есть не что как сама Вселенная, где природа переходит в человека, человек

становится духом, дух опять превращается в часть природы, то на презрительное обвинение сторонников ортодоксального ислама, «что вы, казахи, не молитесь в мечетях», наш кочевник говорит: «А зачем мне мечеть, если все кругом есть бог». Поэтому казахи испытывают не страх перед покойниками, но уважение. В честь аруахов приносят в жертвы разных животных, а иногда нарочно ездят на поклонение к их могилам и, принося жертву, просят их о чем-нибудь, например, бездетные — сына. Во время жертвоприношения казахи говорят: «Пусть достигнет». В древности могилы знатных и великих людей были скрыты или заповедны, вероятно, чтобы их не могли осквернить враги. У нынешних казахов воздвигнуть знатный курган или памятник считается непременной обязанностью детей, и могилы эти им заменяют святыни.

Это и объяснит, наверное, вам то, что нет ничего удивительного, скажем, в легенде, где живой дружит с мертвым. Вот ее мифология, которая, смею думать, может представлять собой и некий род литературного произведения.

В старину было у одного бая три сына. Потерялся однажды у этого бая самый лучший косяк лошадей. Впал в большую печаль этот достойный человек, и тогда старший сын и говорит: «Отец, разреши мне поискать этот косяк». «Ступай, сын мой, ищи»,— отвечает отец. Сын садится на коня, берет с собой еду и оружие. А знать надо, что отец этих трех юношей был чародей и давно хотел испытать своих детей. Вот он обогнал тайно отправившего в путь сына и в степи превратился в шесть тигров. Увидел сын этих тигров и принялся осыпать их стрелами, но тигры не отступили и бросились на него. Тогда юноша испугался сам и бежал назад.

После него в поиск отправился и средний сын. Этот не пытался убить появившихся тигров, а хотел обманом и хитростью проехать мимо них. Не получилось, пришлось и ему возвращаться.

Вот отправляется третий сын, младший. И на его пути встают шесть тигров. Не стал биться с ними он и не пытался обмануть, а сказал им просто: «Я путник, зла вам не желаю, так пропустите же меня, если вы здесь хозяева». Тигры пропустили его, опять превратились в отца. И сказал отец младшему сыну, дав ему свое благословение: «Дай бог тебе благополучный путь, перед собой да обретешь искомое,— да еще говорит,— не забудь, сын, когда придется тебе быть в местах необитаемых, не проезжай мимо могильных склепов, если встретятся тебе они ночью, ночуй при них». Побла-

годарил сын отца за советы и благословение и поехал дальше. Едет он несколько дней и замечает, что кочевки и аулы стали встречаться ему реже и реже и наконец пошли места, где и вовсе не стало людей. И однажды к ночи подъехал он к старым могильникам и видит на западной стороне их свежая черная могила. Тогда обратился он к ней: «Салям!» Никто ему не ответил. Он еще пятнадцать раз повторил свое приветствие. И услышал голос: «Кого спрашиваешь?» «Того, кто подал голос»,— говорит юноша. После этого выходит из могильной земли молодой человек с прекрасно выведенными бровями: «Кого спрашиваю?» «Божьего странника, думающего о ночлеге». «Сходи с лошади»,— говорит хозяин могилы и берет коня за узду, и оказывает гостю всяческие почести. «Куда же идти?»,— спрашивает юноша. А мертвый велит живому: «Закрой глаза, а когда скажу, откроешь». Взял мертвый живого за руку и повел за собой. Затем говорит: «Открой глаза». Тот открыл глаза и увидел перед собой прекрасный дворец, но пахнущий не сырым камнем, а благоухающим запахом свежескошенной травы. Зашли они во дворец, сели, и к ним подходит черный слуга. Мертвый приказывает слуге принести для гостя барана, что тот и исполняет. Черный слуга показал гостью серого барашка и тут же зарезал после одобрения. После ужина легли спать. А утром мертвый за едою и говорит живому: «Давай будем друзьями». Они обнялись и сделались друзьями. «Жаль мне расставаться с тобой, друг,— говорит юноша мертвому,— но надо мне ехать, искать косяк лошадей». «Что ж, поезжай, но прежде давай раскроем друг перед другом свои тайны,— говорит мертвый.— Послушай же мою историю. Я был единственным сыном сильного хана. Раз мой отец повел свой народ на войну, и я отправился с ним на боевом коне. Столкнулись мы с врагом в битве, но перед битвой из строя выехал всадник с черной острой бородкой, в черной шапке с загнутыми полями на черном с лысиной коне и с красной пикой в руке и вызывает на единоборство! Я тоже вышел. Он направил свое копье на меня, я свое на него, разогнали коней и столкнулись, но у него копье оказалось длиннее, а мое короче. И я был убит. Но за то, что я погиб на войне, бог сделал меня своим шаидом. Поезжай же к аулу моего отца, твои лошади у него в табунах пасутся. Увидишь их, возьмешь. Но если хочешь быть моим другом, то выполни мою просьбу: есть среди них два айчубарых коня. Поймай же их и распори им брюхо». «Ладно,— соглашается живой,— я бы распорол, да нет у меня ножа». А у мертвого джигита был маленький хороший ножик. «Возьми его,— говорит

он.— Но не показывай его никому, увидит его моя сестра, и будет тебе жутко». Живой молодец сел на свою лошадь и отправился в аул хана и стал на ночлег у отца своего мертвого друга. Настало утро. А утром пригнали лошадей с пастбища. Вышел навстречу косякам юноша и, не принимая пастухов за людей, выбрал из косяков двух айчубарых коней и вспорол им желудки. Увидели пастухи это зло, закричали: «Хан, хан! Один человек убивает твоих коней!» Бросились тут люди хана на юношу, скоро связали его и повели к хану. Стали его избивать — и этот бьет и другой бьет. Били вначале одетым, а потом решили оголить, чтобы раны были глубже. Стали срывать с него одежду, сапоги, а из сапога одного тут и выпал на землю ножик. Сестра его мертвого друга увидела тот ножик и тотчас узнала. «Этот ножик брата!»— вскричала она. Прежде били — не били, настоящее битье началось теперь. Стали кричать кругом, что он осквернил могилу сына хана. Решили его убить. «Нет,— закричал им юноша.— Я не осквернял могилы, а это вы забыли о нем и о жертвоприношении его имени». Никто не поверил ему. Его мертвый друг говорил ему: «Если случится так, что надо будет сказать правду, скажи ее». И юноша, обратившись к людям, рассказал о своей встрече с их мертвым родичем. «Правду скажу — умру, не скажу — умру! Мне стало все равно, что вы, люди, предпочтете?» «Правду!»,— отвечали ему. Но не поверили этой правде ни хан, ни его дочь. Не оставалось ему другого, как повести их к могиле и вызвать снова мертвого сына хана. Сами сели на хороших лошадей, а юношу связанного посадили на осла. Да окружили его толпой плотной, все еще не доверяют. Доехали до кладбища. Тогда юноша и говорит: «Народ, отойдите от меня, я вызову друга». Долго не решались оставить его одного, но делать нечего, отпустили. Стал юноша звать мертвого друга, долго звал, наконец, вышел мертвый и говорит салем отцу, матери, сестре, людям. Была там и его прежняя невеста, которая осталась так в девичестве у своих родителей. Она первая подошла к нему. Но мертвый оттолкнул ее мизинцем. Тогда к нему приблизилась его сестра и, бедняжка, не выдержав, разрыдалась. Одна слезинка покатилась и упала на правое плечо мертвеца. Как только слеза упала на него, он тут же исчез неизвестно куда. От этого все пришли в еще большее отчаяние, что забыли о юноше, которого хотели только что убить. А вспомнив, принесли ему свои извинения, принялись просить быть у них гостем. Хан сказал ему: «Ты друг моего единственного сына, ты теперь для меня одно и то же, что он, возьми половину моего скота и половину моих поддан-

ных». «Ничего мне не нужно от вас,— отвечал юноша,— верни мне только моих лошадей». Дважды повторил свое щедрое предложение хан, но дважды отказывался юноша и, поклонившись, отъехал со своими девяноста лошадьми. Пришлось ему еще раз проезжать мимо того памятного кладбища, и на этот раз он остановился у могилы, хотя свой подвиг уже выполнил и был давно ожидаем в своем родном ауле. Трижды юноша позвал мертвого: «Достым!» Не отозвался тот. Четвертый раз позвал юноша друга, и лишь тогда вышел тот бледный, изнеможденный.

«Я,— говорит мертвец,— давно слышал твой голос, да нельзя мне было выйти. Слеза моей сестры, упавшая мне на плечо, превратилась в море и потопила меня. Когда ты звал меня в первый раз, я был на самом дне, второй раз — я смог только подняться, третий раз всплыл на волны, а на четвертый раз смог выплыть к берегу. Ох, измучился я в эти дни». Мертвый снова повел живого друга в свое жилище, и провели они там в роскоши и веселье еще несколько дней. Но потом сильно заскучал мертвый друг, видя, что лошади его живого друга поправились на сочных пастбищах, а сам он собирается домой. Стали прощаться, и мертвый говорит живому: «Приедешь ты домой, там тебя все ждут, но род твой собирается идти на войну. Пожелаешь и ты поехать, но станут все тебя уговаривать остаться дома, видя твой усталый вид. Ты согласись, но на другой же день отправляйся вслед за ними в наезд». Приехал юноша домой, и все случилось как и предсказывал его мертвый друг. Отец, мать, родные принялись просить его остаться дома, не ехать на войну, но юноша, лишь переночевав одну ночь, отправился следом, помня последние слова своего мертвого друга: «Когда достигнете вы вражеских аулов, все ударят в коней, ты один скачи по западной стороне, и на тебя бросится только один противник — всадник на черной с лысиной лошади с черной острой бородкой и с черной шапкой с загнутыми полями да с длинным красным копьем в руке. Ты ссадишь его при помощи бога. Это тот самый, что убил меня. Ты зарежь его, говоря: «Дойди до моего друга», заколи и коня его с теми же словами. А когда ты увидишь, что ваши воины побили всех и делят добычу, снова вскочи на коня и снова поезжай прямо на запад. Там на окраине аулов ты увидишь белую юрту для молодоженов, возле нее и привяжи свою лошадь. Зайдешь с молитвой в юрту и увидишь в ней молодую, только что взятую в замужество женщину, и двух девиц, с ними ястреба и черную борзую собаку в ошейнике. Убей же их всех со словами: «Дойдите до моего друга». Опять же все исполнил,

как ему велел его мертвый друг, юноша. Пролил много крови без сомнения в душе. Вот только замахнувшись над второй девицей, задержал руку свою: в глазах ее светились два солнца, а в улыбке месяц. Стало жаль ему ее. Поцеловал он ее, хотел было отпустить, потому как полюбил ее, да слово дал ведь другу все исполнить. И, огорчившись сильно, отправил на тот свет и вторую девицу. Затем вышел из юрты и увидел, как его спутники делят казну, сам же он по совету мертвого друга не прикоснулся ни к чему чужому, только срубил веточку с тополя, что рос у юрты, да собрал немного верблюжьего помета, что был там же. Тут появился черный верблюд, юноша и веточку и узелок с пометом прикрепил на верблюде и повел его за собой в аул к отцу и матери своим. По пути в степь сделалась сильная буря, и все верблюды с нагруженными на них вьюками с добром не могли подняться, и засыпало их песком. Один только верблюд юноши без тяжелого груза шел легко и смог спасти своего хозяина и спастись сам. Трудный был путь назад, но когда осталось до родных мест всего полдня дороги, юноша взял тополиный прутик, произнес: «Бисмилля-рахман-рахим» и ударил им по узелку с навозом. Узелок тот развязался, и стали выходить из него бесчисленные гурты овец, косяки лошадей и караваны верблюдов. Сам же прутик в тот же миг превратился в большое дерево, корни которого были из серебра, ствол и ветви из золота, а листья из изумруда и бирюзы. Так раскрылась тайна черного всадника с черной бородкой: он тоже был чародей. А в тополе и навозе, что разбросан был у его юрты, прятал от людей свое богатство. Ездившие в поход с юношей всадники вернулись ни с чем, как говорят, с пальцами в своих ноздрях. А сам юноша стал очень богат, да вот счастья не почувствовал. Подумал он, подумал и снова отправился к могиле друга. Позвал его и вошел в подземный дворец. Видит, возле его друга сидят та самая невестка и две девицы, убитые им, а прислуживает сидящим человек с черной бородкой и в черной шляпе с загнутыми краями. Подошел юноша к праздничному столу и говорит мертвецу: «Салем! Много я греха взял на душу, но вижу, что хорошо с тобой и невестке и старшей девице. А вот второй девице плохо».

«Почему ты так решил?» — спрашивает его мертвый друг. «Потому, что на щеке у нее от моего поцелуя осталось черное пятно, не оно ли говорит о ее муках»,— отвечает воин.

Тогда мертвый рассмеялся и говорит: «Хорошо, возьми ее себе обратно в живой мир. Идите же с миром и живите

счастливо. Но помни, скоро будет беда. А чтобы не случилась она, помни: через три года будут проезжать мимо твоего аула торговцы с товарами на двух телегах, у них будут две лошади, одна гнедая, другая рыжая. Лошади эти будут измучены и невзрачны на вид, но ты их купи, сколько бы не просили владельцы. На этих лошадей не клади аркана, ни узды, ни седла, ни раздвоенных лядвей, ни хомута. Если когда-нибудь почувствуешь головную боль и эта боль не пройдет у тебя, несмотря ни на какие примочки и настойки трав, то выведи из косяка гнедую лошадь, с молитвой принеси ее в жертву и посмотри на ее мозжечок. Будет он белый — живи спокойно, но если в нем увидишь хотя бы капельку черноты, то скорее садись на рыжую лошадь и во весь опор скачи ко мне. Будешь мчаться ко мне, за тобой поедут и всячески будут требовать остановиться. Но ты упрямо беги вперед, не оглядываясь и не смущаясь духом». Надо ли говорить, что и это предсказание мертвеца сбылось. Прошло несколько лет. Юноша заболел и мозжечок гнедой лошади оказался черным. Джигит тайну свою ни перед кем не раскрывал, ни слова не сказал ни отцу, ни матери, ни жене молодой. Только просит: «Оседлайте мне Рыжку,— видя, что болезнь уже сбивает его с ног.— Поеду по степи, чуть развеюсь». Помогли ему сесть на коня, а он и по аулу не может проехать: все падает с седла. Вдруг слышит страшный топот сзади, тогда он, не оборачиваясь, крикнул всем: «Прощайте, будьте здоровы!» и поскакал в степь к мертвому другу. А сзади кто-то нагоняет его и велит остановиться. Еще сильнее погоняет джигит своего коня, а голова болит все сильнее, кружится и горит. Наверное, он так и проскочил бы мимо кладбища, да его мертвый друг почувствовал, что случилась беда, вышел на землю и смог арканом остановить возле себя мчавшуюся обезумевшую лошадь с всадником. Только он прижал больного друга к себе, как подъехал тот, кто гнался за ним. Это был ангел смерти Азраил — душеберущий. Увидел он, что добыча его исчезла под землей, и вошел вслед за друзьями в могилу и там строго потребовал отдать ему душу больного джигита: «Давай беглеца моего!» «Не отдам,— отвечает мертвый друг.— Я божий шаид и бог обязался до трех раз исполнить просьбу мою. Первый раз просил я друга дать мне, он дал. Второй раз просил я невесту его вернуть на землю — он вернул. А вот третий раз прошу я его не брать к себе душу моего друга. Уйди». Но ангел смерти Азраил стал настаивать на своем, ссылаясь на то, что слишком много времени от отдал погоне за этой душой и времени своего ему жаль. И лишь после того

как мертвый обратился прямо к Всевышнему, аллах сказал с небес: «Отпусти!»

Ничего не оставалось делать Азраилу, как удалиться. Вмиг вся хворь слетела с джигита, и мертвый друг его проводил на землю. «Прощай,— сказал он.— Теперь, лишившись божьей защиты, и для тебя, друг, я стал мертвый»,— сказал и исчез. Вернулся джигит к себе в аул и зажил дальше счастливо и богато.

СЮЖЕТ VII

О том, как трудно содержать в Кашгаре осла, потому что связка сена стоит двенадцать пулов, но еще труднее сохранить голову, потому что: вай! вай!

Просматривая свой последний дневник, я вижу неровные строчки, писанные при свете походного костра. В этой экспедиции в нем горели серые ветки Juniperus sabina, взятые в запас, так как на этом пути до самой границы Малой Бухарии нет другого топлива.

Перейдя 9 сентября 1858 года воды горной Зауки, мы вступили в страны неведомые и незнаемые. Караван наш только что успел разбить шатры на небольшой болотистой полянке, покрытой местами сугробами. Идет снегопад и холодно. Впрочем, я очень доволен. Еще всего десять дней назад я, дожидаясь этого экспедиционного каравана, скрывался в родных степях среди камней, а ночью рыскал как барымтач. Со мною не было ничего: ни огнива, ни хлеба, ни воды. И сам я был кто? Ни русский офицер, ни казахский султан, ни богу свечка, ни черту кочерга. Снаряжавший меня и любивший нападать на мой dandysme, полковник К. К. Г-ский, лишивший меня всех удобств ради высшей секретности до той степени, которая, видимо, ему, стороннику натуральной школы, казалась идеальной, не выдержал бы и половину моих тогдашних мучений. Я не имел даже подорожной, которуя я бы очень бережно держал под полою плаща, которого тоже не было. А без нее, стоило мне только двинуться с места, отмеченного как точка тайной встречи с караваном, меня могли схватить казаки и представить в приказ как бродягу, или же братья киреевцы могли ограбить, оставив в виде Адама, изгнанного из рая. Но, слава аллаху, все позади, и я пью чай у этого костра, пью как привык, по-

купечески. Больше того, кашевар Кошкар готовит мне ужин. Кругом слышно блеянье овец и говор работников, сидящих вокруг огней, в ожидании горячей похлебки. Речь, кажется, идет у них о трудностях сегодняшнего подъема. Слышу, как Бекмурза, киргиз из соседнего коша, рассказывает с большим жаром, как его верблюд с вьюком упал с косогора и как он спасал его. Затем о том, как два года назад, зимой проходил Хабарасу в Тарбагатае и что путь там среди скал так был скользок, что целыми днями они рубили ступеньки во льду, а в покатых местах клали под верблюдов войлок. Кто-то из них сравнивает пройденную нами Зауку с Кендыр-диваном по пути в Ташкент и находит, что Кендыр круче и выше. Ему возражали, утверждая, что Зауку опасней: здесь дорога малоизвестна и не утоптана. Это все народ бывалый и многие из них всю свою жизнь служат при караванах и отлично знают географию пройденных ими стран. Не удивлюсь, если кто-то из них был, скажем, в Аравии или Индии. Затем после непродолжительной тишины, когда беседа приняла особенно интимный сгусток, вполголоса заговорил один малый по имени Акжол, известный в караване своим красноречием. Я не все слышал в силу отдаленности моего ложа от того очага, где они расположились и беседовали, но какие-то отрывки речи Акжола все-таки достигали меня:

—...отец его, джунгарский хан, имел еще сына Калдана. Шуна жил с наложницей Кара-кыз, в которую влюбился, а затем на ней женился его брат. Оскорбленный, Шуна сдержал себя как мог и пригласил своих лучших двенадцать друзей разгуляться по хребтам Алтая. Отъехал он с ними на не один конский пробег от родного аула, рассказал друзьям о своей обиде и, не выдержав тут, развернулся и выпустил стрелу в сторону оставшегося в ауле жилища брата. Стрела летела день, но вонзилась прямо в дверь братовой юрты.

— Пах! Пах!— удивлялись слушатели рассказу Акжола.

— Калдан узнал по стреле ее хозяина,— огорченно сообщил дальше рассказчик и продолжал еще более скорбно,— и пожаловался хану-отцу. Когда Шуна возвратился домой, хан-отец велел схватить его, вырезать ему лопатки и связать сыромятными ремнями руки и ноги, а затем бросить в подземелье. Это сделано было быстро и секретно и никто не узнал, куда девался любимец народа. Только один старик, вхожий в дом хана, догадался об истине. Сделав от своей юрты подкоп к темнице и в продолжении семи лет тайно питал узника. А между тем, сильный сосед Черный калмык, узнавши, что не стало вещего батыра, Шуны, присылает к отцу-хану двух сорок, из которых одна была настоящая, а

другая — превращенная колдовством из вороны. И условие, если хан-отец отличит настоящую сороку от мнимой, то он, Черный калмык, будет платить ему дань по-прежнему, если же не отличит, то перестанет. Не знал ответа хан-отец и сильно запечалился. И вот старик однажды, доставив еду Шуне, рассказал ему о горе отца. Шуна сказал: «Велика ли мудрость отличить сороку от вороны! Ты посоветуй моему отцу поставить шест, а подле шеста навес и в ненастное время выпустить птиц; сорока полетит под навес, а ворона сядет на шест».

Таким образом, птицы были разгаданы и Черный калмык остался данником, но никто не узнал, что это совет Шуны.

— Пах! Пах! Пах! Барекельды!

— Спустя год Черный калмык опять посылает к отцу-хану послов с поклажей, составленной из дерева, обтесанного гладко со всех сторон, с задачей — отличить где вершина, где корень. Опять отец-хан запечалился, и снова старик рассказал о печали хана Шуне. Шуна научил пустить бревно в воду, и тот конец, который утонет, будет со стороны корня, а вершина поднимется над водой. Снова Черный калмык остался данником.

— Пах! Пах! Пах! Афырай!

Но через год он уже не загадку задает, а присылает железный лук, чтобы на него натянули тетеву. Однако лук был такой тугой, что никто не мог этого сделать, бросились тридцать мужчин разом и все безуспешно. Тогда Шуна научил своего старика заплакать перед ханом с такими словами: «Своего батыра мы сами уничтожили, а теперь должны покориться даннику!» Старик так и сделал. Услышав такие слова, хан-отец воскликнул: «Да не жив ли он?» Пошли посмотреть. Вытащили Шуну из ямы, а он весь оброс мхом, плечи его зажили, но он разучился видеть белый свет, упал ниц и пролежал так целый день, лишь ночью встал. Отец приказал его вымыть молоком и нарядить. Тогда Шуна спросил: «Для чего ты, родитель, меня, мертвеца, пошевелил?» Но хан-отец, вместо ответа, дал ему целую гору вареного до первого закипания мяса и целую чару вина. Съел мясо с кровью Шуна, выпил вино единым духом, подали другую чару, выпил и другую и закусил целым бараном. Тогда хан-отец пересказал ему свое горе. «Пусть несут лук»,— велел Шуна. Тридцать человек, шатаясь от тяжести, поднесли к нему тот лук. Шуна согнул лук и одним мизинцем наложил на него тетиву. Потом сказал отцу: «Ну, родимый родитель, благословляй меня в путь, я тебе больше не

сын, ты мне не отец». С этими словами и оставил свое царство.

— Пай! Пай! Пай!— запричитали слушавшие Акжола путники. Вот истинно простодушные сердца.

Чу! Шум: стада бегут на гору. Вот слышен отчаянный голос караванбаши: «Да буду я твоим серым ослом! Чтобы мне заплатить за все расходы!» И рассказчик и все его благодарные слушатели тут же вскочили со своих мест и бегут к гуртам. Слышны крики: «Айт! Айт!»

Представляю, как разочарован этим наш краснобай, при других условиях готовый рассказывать дальше своей аудитории и о том, как Шуна стал ханом Кокандии, и о том, как, конечно же, сам оставив престол, ушел к калмыкам, опять же везде устанавливая справедливость, и тому подобную чепуху, до которой киргизы большие охотники. Такие притчи во множестве ходят в степи.

Постепенно шум стих, и работники стали возвращаться к своим кострам. Краснобай Акжол в этот раз направился к моему очагу и пристроился рядом со мной на корточках.

— Волк, что ли?— спрашиваю я его.

— Он сам,— отвечает Акжол.

Вслед за Акжолом подходит еще один пастух и, приняв грустный вид, говорит плачущим голосом, что волк порвал одну из наших овец, затем эгоистически добавляет:

— Нет, чтобы ему, подлецу, порвать у других!

Огонь потух, все замолчали, я начинаю мерзнуть, да и время, должно быть, позднее.

— Кошкар, готовь постель,— велю я.

На следующий день караван поднялся рано, утро было чрезвычайно холодное. Крик верблюдов и голоса работников не сразу оторвали меня от крепкого сна. В коше снова горел огонь и приятно шумел кипящий чайник. Завернувшись в шубу, я расположился около костра с пиалой. Вдруг раздался повелительный голос караванбаши Мусабая, приказавший снять шатры и вьючить верблюдов. Я нисколько не поторопился, согласный недосыпать, что, признаюсь для меня мука, но ни за что не способный примириться с тем, что мне не дают по-настоящему насладиться, пусть с дымком, но чаем.

А кругом началось шумное движение: брань, проклятья, благочестивые призывы к господу богу, пророку и святым оглашали узкое ущелье. Надо предупредить шуметь меньше, не дай бог, все это вызовет камнепад, что нередко случается в этих краях. Но встать и вступить в разговоры с караванщиком лень. Едва я успеваю кончить чаепитие, как караван

выступает в путь. Кроме меня у своего костра задержались бухарцы. Эти не могут тронуться в дорогу, не раскурив свой обычный кальян с обязательными зернами мака. Кальян обходит всех, и густое облако дыма покрывает всю компанию. В противовес им я закуриваю обычную трубку.

Наконец, все собрались, и тут в нашем караване замечают, что нет Акжола. Покричали, он не ответил. Караванбаши уже на коне, мы следуем его примеру. Начиная каждый переход, Мусабай, считавшийся с некоторого числа этого года моим родным дядюшкой, становится серьезен и даже обычную свою присказку об осле, которым он готов стать во избежание следующих нелепостей, оставляет. Теперь он собран и суров, как адмирал у штурвала флагманского корабля.

Он погоняет коня, чтобы догнать вереницу ушедших вперед верблюдов, мы тоже дали ход. Между нами царит глубокое молчание, в котором, несомненно, есть нечто тревожное. А между тем, большинству из нас не дают раскрыть рта окоченевшие от холода скулы и растрескавшиеся от морозного горного ветра губы.

Одетые в шубы и подпоясанные крепко широкими кушаками и с красными носами на посиневших лицах, мы похожи на буддийских бурханов: шарообразные наши фигуры лишены в седлах всякого движения. Наши меховые и ватные одеяния как панцири теснят дыхание.

Если же придать усилие пояснице и чуть приподняться, то можно увидеть, как наши верблюды уже спускаются рядком к долине реки Аксай. Затем караванная тропа предположительно перейдет эту реку и где-то там, через проход Кокия, выйдет на первый маньчжурский пикет.

Рабочие-киргизы, в своих войлочных плащах, обслуживающие караван, вообще похожи на неодушевленные существа. А если признать, что окрестная картина наводила серое уныние, то можно понять возникшую во мне мрачность мыслей: кругом желтые горы, лишь впереди виден кусочек выветренной долины. Остовы лошадей и баранов покрывают все кругом, на некоторых из них еще висит лохмотьями шкура и видны высушенные ветром куски мяса. Этот скот, должно, погиб год назад от здешнего снега и морозов. Я слышал, что тогда были особенные своей смертельной силой снега, которые горные киргизы весной называют сарыкар — желтыми. Не удивлюсь, если среди бесконечных этих костей лежат и человеческие скелеты. Но кроме меня, видимо, никто не думает об этом, нисколько не отягощаясь местностью, и спокойно двигаются вперед.

Впереди на сопке стоят наши товарищи по путешествию — хивинские купцы. Один из наших сартов срывает господствовавшую печать безмолвия, и мы, удивленные раздавшемуся обычному человеческому голосу, разом оборачиваемся к нему.

— Что вы встали,— говорит он хрипло.— Разве не видите, что нас зовут,— и озабоченно показал рукой на ту дальнюю сопку.

Действительно, один из стоявших там купцов делал телом вольты направо, что принято считать знаком призыва. Мы поскакали к нему, признав в нем знакомого, который до нас уже несколько раз бывал в Кашгаре.

— Что такое?— спросили мы после взаимных приветствий.

— Пока, слава аллаху,— говорит этот купец с окладистой белой бородой.— Опасности, видимо, нет, но надо быть осторожными. Дело в том, что эта долина есть самое опасное место, все разбойники-барымтачи проходят по ней. А потому я прошу вас зарядить ружья и не отходить караванам далеко от нас.

— Воля аллаха да будет,— говорит наш караванбаши Мусабай, склонный к фатализму.— Без его воли и волос не выпадет из бороды,— но все-таки остановил караван и переставил людей.

Теперь и впереди и сзади появились молодцы с ружьями. Выяснилось к тому же, что тот красноречивый малый Акжол так и не появился. Он был из числа тех работников, которые присоединились к нам уже у самой границы, в общем — чужак, и Мусабай решил махнуть на него рукой. Мне же стало жаль этого спутника — пропасть здесь не составляет никакой трудности. Я, таясь, развернул свою лошадку и поспешил к тому месту, где мы давеча разбивали лагерь. Заметь мой маневр Мусабай, он ни за что не разрешил бы мне это сделать. Еще бы, ведь бедняга отвечал за меня не только головой, но и всем своим торговым состоянием.

У потухших костров Акжола не оказалось. Я проехал дальше за отвесную гранитную скалу и увидел, как за ней, на краю пропасти, прямо на валуне стоит человек. Стоял он прямо, разве что выставив вперед ногу, и, казалось, в нем ничего не было особенного, если бы не серое его лицо, окаменевшее на ветру. Глаза сузились до сущих ниточек. Нос заострился как клюв. Не будет преувеличением, если скажу, что он стоял как монумент Чингисхану, принимая во внимание то могучее своей величавостью пространство, расстилавшееся перед нами.

Я несколько раз окликнул его, но он, попирая стопами Азию, не отозвался. Он не только не изменил позы, но даже на лице его не дрогнула ни единая черточка. Возможно, он стоял так «дум великих полн», но скорее всего, свихнулся от разряженности воздуха. У меня не оставалось времени разбираться в тонкостях его психологии, и я, подъехав к самому валуну, протянул руку, схватил его за ворот ватного халата и просто стащил вниз. Он не стал цепляться за свою странную, надо признать, затею, и молча, как продрогший кот, поспешил за моим конем вслед за караваном.

Бежал он скоро, не поднимая на меня глаза. Но все же осталось какое-то впечатление, что я невольно проник в его какую-то тайну. И, как следовало ожидать, теперь не сторонился, а наоборот, как можно больше вертелся вокруг меня весь оставшийся путь, словно хотел вернуть себе то, что я незаконно у него отнял. Правда, заговорить со мной он не решался, да и я по причине мрачности мыслей, не покидавшей меня, не был разговорчив.

Чем ниже спускались мы и чем выше поднималось солнце, тем более становилось жарко, до бесед ли! Однако после полуденного привала, когда мы окончательно оставили свои черепаховые панцири шуб, ему удалось, загадочно отводя глаза и горестно вздыхая, сопровождая все это невероятными ужимками лица, завлечь меня в сторону к заброшенному караван-сараю Ташрабат. Тем более, что я сам хотел идти осмотреть и зарисовать это замечательное по своей архитектуре здание со сфероидальным куполом, но было лень вставать и тащиться туда по песку, да и приходила в голову мысль, что это лучше сделать на обратном пути. Но так как Акжол не отставал от меня, я оказался среди этих развалин.

Этот рабат имел множество легенд. Одна из них гласит, что если один раз считать, то в нем оказывалось сорок комнат, если в другой раз — тридцать девять. Исчезающая комната была не единственным его достоинством. Дикокаменные киргизы почитают этот рабат за несомненное чудо и приносят, проезжая мимо него, в жертву двух баранов, и мы, подойдя к зданию, увидели его свежеокровавленный порог и головы архаров, навешанные на сами ворота.

В большом зале рабата я, увлекшись настенными мистическими надписями, не сразу заметил, как Акжол снова встал в позу. Только когда он довольно внушительным тоном заявил: «Ставя тебя достойным, указываю на свидетельство», я вспомнил о нем.

Бог с ней, с позой, сейчас она была просто комична,

нежели загадочна, а вот предмет, который он протягивал мне, был весьма и весьма любопытен. Это был изрядно потрепанный лист лощеной бумаги длиной не менее девяти и шириной около четырех вершков. На нем отчетливо виднелся знак бычьей головы, что уже свидетельствовало о его высоком значении. Скорее всего, это была печать крымских Гиреев. Так оно и оказалось. Первая строка, написанная золотом, гласила: «Слово Давлет-Гирей-хана», затем шло: «Великого улуса уланам и биям правого и левого крыла, начальствующий тьмой, тысячью, сотней, десятком, даруга бекам внутренних селений и городов, законоведам, настав никам, судьям, ведателям метрик, набожным старцам, от шельникам, священникам, муэдзинам, ладейщикам, мостовщикам и письмоводителям, проходящим и едущим путникам и путешественникам и многому народу, всем сущим властям букаулам, ясаулам, и всем причастным к какому бы не было делу».

Далее, повеление великого могущественного владыки в этом всесильном ханском ярлыке таково: «Вследствие спора и тяжбы за земли владетеля сего августейшего фирмана знатного в роде Тайган Ахмед-бия и Али-Паша-уланом, был послан по священному и обязательному ярлыку знаменитый из скромных ученых и превосходнейший из законоведов Маулана Махмуд, да возвысятся его благодетели, который осмотрел все по законам, сделал чертеж и дал Тайган Ах мед-бию в руки копию составленного акта. По чертежу сделанному в Карасу, границы четырех сторон определяют ся так: на юге — Караагач, принадлежащий Мунал-бию, на востоке — земли Али-Паша-улана, на западе границей служит Степная дорога, а на севере — земли Абу-Салям-бия. Основываясь на чертеже и удостоверении известного муллы Махмуда, поднес Тайган Ахмед к нашему счастливому порогу лошадь и испрашивал от нас ярлык с красным знаком и голубой печатью на земли, определенные вышеупомянутыми границами. Приняв благосклонно лошадь, я наградил и пожаловал ему земли в описанных выше границах, дал в руки это государственное письмо с красным знаком и голубой печатью и приказал: дабы на будущие времена никто, не исключая больших и малых султанов, уланов, биев и других, не чинили препятствий и обид вышеупомянутому Ахмет-бию, когда он будет владетелем пожалованных земель. Воины и слуги наши так же да не делают ему притеснений, обиды, беспокойства и страха, ибо он нашей ханской милостью обласкан и пожалован. Воспрещается им под каким бы ни было видом, на каком бы то ни было основании

и какими бы то ни было средствами и путями заводить споры и причинять ему обиды. Тех же, кто нанесет ему оскорбление, местные власти обязаны останавливать, обуздывать и удалять. Пусть он, сидя спокойно, с чистым сердцем, воссылает молитвы и благословения для нас и ради нас. Так говоря, для держания в руках дан ярлык с приложением перстневого знака. Писано в благословенном месяце Мухаррам, лета 977. Карасу».

Ярлык Давлет-Гирея меня заинтересовал, но слышно было, что уже поднимают караван, и я предпочел вернуть его Акжолу и поспешил скорее осмотреть рабат. Акжол же, в силу своей величественной позы, не в силах был задавать вопросы, ожидая, видимо, благосклонно их от меня, и не мог мне помешать. Я сделал некоторые наброски карандашом и поспешил к своему коню. Тронулись.

Первая встреча с кашгарским пикетом Иссык-караулом состоялась бестолково, и в этом была моя гарантия дальнейшего беспрепятственного продвижения в Terra incognito. Пикет стоял у входа в ущелье и был окружен глиняной стеной с башнями. Перед ним зеленели аллеи больших тополей и тутовых деревьев. Не доехав до него несколько верст, я отстал от каравана и зарыл в одно приметное место несколько книг, дневник и уничтожил все бумаги, написанные по-русски.

Караван остановился в пятидесяти саженях от Иссык-караула, и так как прибыли мы к нему очень рано, было около пяти часов утра, то и хотелось, если можно, взять скорее пропуск у офицера и следовать дальше.

Наши кокандские воины уверяли всю дорогу, что местные караульные службы их очень боятся и, что если увидят при караване, то не осмелятся сделать остановки, и, что если неверные, то есть воины-маньчжуры, и вздумали бы это сделать, то они проведут нас далее и без пропусков. Только на деле вышло другое.

При нашем приближении с одной башни закричал часовой, и солдаты, сидевшие в тени деревьев перед стеной, бросились поспешно в пикет и заперли ворота, а на башнях появились несколько бритых с косами голов, да и не скоро исчезли. Видимо, они приняли нас за авангард какого-нибудь мятежного ходжи. На многократный крик и стук в ворота через время, явно чего-то опасаясь, показалась физиономия кашгарского землепашца. Высунувший его солдат подсказывал ему вопросы и тот, как кукла, повторял за ним:

— Кто вы такие?

— Мы? Да разве ты нас не знаешь?— говорили наши

кокандские сипаи, обязанные перевести нас через незамиренных дикокаменных киргиз и рекомендовать нас кашгарским властям.

— Ах! А это что за странные люди?

— Это — наши подданные, слуги хана, пришли с торго вым караваном.

— Позвольте, я доложу.

— Поворачивайся скорее, проклятье на твою сестру! выкрикнул вконец рассердившийся кокандский обер-офицер и ударил рукой по своей сабле.

Пришлось еще долго ждать, когда, после кудахтающих криков, ворота приоткрылись и вышел бледный и худой, как скелет, капрал, с трубкой в руках, и, очевидно, подверженный курению опиума, в сопровождении все того же крестьянина, использовавшегося в роли толмача.

Капрал оскалил свои острые зубы цвета ляпис-лазури и закричал:

— А ну, признавайтесь во всем!— и затопал ногами. В ответ ему завопил наш обер-офицер:

— Проклятье на твою сестру, на которую я уже посылал и буду посылать проклятье!

Они принялись отчаянно ссориться, мы же, предпочитая не вмешиваться в этот дипломатический диалог, подумали, подумали, а затем подняли наш караван и спокойно, никем не останавливаемые, прошли мимо этого караула и двинулись в глубь страны.

За Учбурханской возвышенностью сплошная масса садов. Это и был легендарный Кашгар, совершенно не известный Европе и оберегающий свои тайны так ревностно, что летели только головы тех, кто пытался проникнуть сюда и приоткрыть полог таинственности над ним.

Минуя окрестные деревни, мы, наконец, добрались до самого города, но радость наша была сразу же омрачена ужасной пылью у городских ворот. Кругом двигались ослы, навьюченные мешками, и тележки. Дорожные мелкие торговцы бегали взад-вперед, крича так, что, казалось, вы, не купив у них безделицу, отнимете этим у них последнее. Здесь сновали пешие солдаты, монахи, бабы, мальчишки, скулящие собаки. И здесь мы вынуждены были остановиться.

Караванбаши поехал в цитадель представиться городской голове — Аксакалу по-тутошнему.

Кроме криков и пыли, надо признаться, нас беспокоило еще одно соседство — одиннадцать человеческих голов с лохмотьями кожи, с волосами, насаженные на длинные

шесты. Надо было, созерцая эти кости, или отчаянно пугаться или думать о тленности мира сего. Я выбрал второе.

Но вот, наконец, к нам вышли туземные чиновники и принялись осматривать наш товар. С нами они не заговаривали, а между собой довольно свободно и я, уже действительно с тревогой, услышал, как один из них, поглядывая в нашу сторону, сказал второму:

— Вон тот как две капли похож на русского.

— Да ты разве видел русских?— засомневался его коллега.

— Нет, да уж так я думаю.

Малая Бухария или Кашгария страна закрытая. Сюда заходят только доверенные купцы, да и то после многочисленных проверок и обязательно с рекомендациями кокандского хана. Жизнь тех же, кого сюда приводит любопытство, как я уже говорил, ценится мало, что почувствовал на своей шее не так давно географ Адольф Шлагинтвейт: его белокурая голова, говорят, украсила вершину кашгарской пирамиды черепов, если и уступавшей несколько величиной Хеопской пирамиде, то в своем жутком величии превзошедшей последнюю намного.

«Трудно,— говорит здешняя народная песня,— содержать в Кашгаре осла, потому что связка сена стоит двенадцать пулов, но еще труднее сохранить голову, потому что вай, вай!»

Наконец мы прошли ворота с будкой, в которой сидели, должно быть, часовые, потому что возле нее были навешаны ружья, сабли и дубинки. Рядом с ней же сидели два писаря и один из них принялся за допрос.

— Откуда вы приехали?

— Из Семипалатинска.

— Кто вы?

— Анджанцы.

— Какие анджанцы? Из России?

— Нет, из Маргелана. Мы были в России, купили там товаров и привезли к вам.

— Зачем же вы из России приехали к нам? Разве русские товары не купят в Маргелане?

— Купец едет туда, где можно иметь большие выгоды.

— Сколько вас хозяев и сколько прислуги? Отчего в донесении из Иссык-караула сказано, что у вас на семь огней сорок человек, а сейчас вы показываете сорок два?

Огромного терпения и труда доставили нам объяснения, и все равно нас пропустили в город с недоверием. Не успели мы хорошенько расположиться в отведенном для нас кара-

ван-сарае, как ко мне прибежал Акжол и, хитро поблескивая глазами, сообщил, что кашгарцы ищут в нашем караване русского. Я не ответил на его доверчивость, но он, продолжив, выдвинул другую гипотезу, которая очень меня бы устроила:

— Эти хитрецы делают вид, что ищут русского. Но я знаю, что это не так...— сделав паузы и, так и не дождавшись моей заинтересованности в разговоре, продолжил шепотом.— Я думаю, они ищут... Шуну-батыра.

Казахская степь не только в прошедшие столетия, но и теперь служит убежищем разного рода рефюжье. В прошлом там скрывались недовольные и обиженные со всех сторон света: из татарской Сибири, из Коканда, Джунгарии, с низовьев Волги. Кроме множества дезертиров из простого народа, здесь нередко укрывались и люди аристократического происхождения, принимались с полным гостеприимством и даже сохраняли высокое положение.

Так, два несчастных джунгарских князя — Дебачи и Амурсана — бежали из своего отечества вследствие политических событий и были приняты в степи и получили целое казахское поколение в управление. Карасакал, возмутивший башкирский народ в 1740 году, был самый загадочный и удачливый из степных авантюристов. Поселившись в степи и получив хоть и небольшой удел, он сразу же сделался опасным как для Российской, так и для Китайской империй. Первая боялась, как бы он при поддержке степи вновь не поднял башкир, вторая была напугана его самозванством: он выдавал себя за ойротского наследника Шуну.

Батыр Шуна, погибший наследник джунгарского престола, уничтоженного китайцами, был так любим джунгарским народом, что джунгары готовы были в любой момент восстать против тогдашнего хана Галдан-Церена, брата его. Более того, не раз представители разных слоев джунгарских калмык осведомлялись у русских и казахов, не знают ли они, где Шуна. Был слух, что он командует русским войском, а этому было основание — Шуна был обласкан в свое время императрицей, получил чин под фамилией Краснощеков, но затем, оставив Петербург, снова ушел в степь за своей погибелью. Джунгары даже были готовы сдаться без боя русским войскам, при условии, если их приведет Шуна.

Батыра Шуну знают на всем пространстве степей, где еще кочуют номанды от Монголии до Волги. Не бывает и пяти лет, чтобы этот легендарный покойник не оживал где-нибудь и не будоражил умы. Сила образа Шуны постоян... подкрепляется не только сказками и легендами о нем, н

большей степени желанием свободы тех народов, которые не представляли ее себе иначе, как под рукою бунтующего принца. Сами же казахи, охотно принимавшие всех самозванцев под именем Шуна, никогда не вставали под их знамена, хватало своих мятежников, скажем, дядюшек моих Кенесары и Габайдуллы султанов и целой феодальной партии под названием Ак-Арка, требовавших восстановления ханской власти, впрочем в пределах той же Российской империи.

— Скажу вам по секрету, господин Алимбай,— продолжил осторожно Акжол свою любимую историю, оглядываясь отчего-то по сторонам.— Хан-отец не отрекся от сына Шуны, а в путь ему дал благословение и сорок воинов, чтобы он когда-нибудь вернулся и восстановил свой народ, отбросив маньчжур обратно в их Китай.

— Постой, братец,— рискнул я быть несколько осведомленным в исторических фактах, но в тех пределах, которые доступны уму купеческого племянника.— Как твой хан-отец просил сына освободить народ от маньчжур, если тогда ими и не пахло не то что в Джунгарии, но и здесь в Кашгаре?

— Да, верно,— нисколько не смутился Акжол.— Шуне дал воинов и благословения его мертвый отец.

Ну, чем не Шекспир! Я расхохотался.

— Напрасно смеетесь, господин Алимбай,— обиделся фантазер и твердо добавил:— Шуна такой... он может оказаться в любой момент здесь и гнев его будет страшен.

— Ладно, братец,— сказал я, расположившись удобней и радуясь, что есть хоть какой-то предлог не делать караванных и базарных дел, предложил ему дальше рассказывать свои байки.

Акжол тоже поспешил устроиться поудобней и с удовольствием принялся за свое бесконечное повествование:

—... с этими воинами он и ушел через казахские и каракалпакские степи к волжским калмыкам. К родной своей сестре, отданной в замужество за калмыцкого хана, и скрылся там. Тогда его злой брат Галдан-Церен-хонтайши послал вслед смертельную угрозу — выдать Шуну! Заколебался калмыцкий хан, да и народ его думает: за что мы страдать будем, если джунгары с пушками на нас пойдут? Решили выдать. А сестра Шуны, узнав о предательстве, тотчас поспешила сказать брату. Тогда Шуна научил ее, как дело вести.

Пошла она и сказала мужу-хану: «Я согласна, но мне будет грустно без брата моего Шуны». Хан спросил: «Что же мне делать?» Она ответила: «Оденься, как Шуна, стань воло-

сом и голосом похожим на него, вот и не буду я скучать».

Так хан и сделал. Тут забежали во дворец к нему калмыки, увидели его, думали, Шуна, и стали душить его ремнями. Закричал тут хан: «Отпустите, я не Шуна!»

Тут вышел настоящий Шуна и сказал: «Отпустите его, я — Шуна».

Закричали ему калмыки: «Ты врешь! Не станет человек искать себе смерти сам. Ты хочешь укрыть от нас Шуну»,— и задушили своего хана. А ханом над ними стал Шуна. Восстановил он среди них справедливость и ушел один к кубанцам, а с ними к османам.

Там принял мусульманство и дал обещание никогда не говорить по-джунгарски. Тут услышал о нем русский царь и просит...

Что просил русский царь у Шуны, я так и не узнал. В комнату мою вбежал весь в поту и слезах названый мой дядя Мусабай и, вспоминая осла, которым он непременно станет, принялся укорять меня в безразличии к торговому делу, при этом выпихивая кулаком работника-болтуна вон. Мусабай терпеть не мог моих уединений с кем-нибудь без него, все ему казалось, что я как-то проговорюсь о том... О чем он сам готов забыть и готов за это сейчас же уплатить любые деньги.

На следующий день в разгар размена и торга в наши лавки заявился косой посыльный наиббека — начальника местной полиции и потребовал явиться в полицию. Все это еще больше напугало караванбашу. Пришлось идти, и по дороге Мусабай все выпытывал у меня, почему этот посыльный полиции косился на него и твердил, что это не к добру.

Пройдя полгорода, вы вошли в хорошо выбеленный дом, одна из стен которого состояла из деревянных решеток и вела в сад.

Наиббек возлежал на софе, а другие чины сидели на белом войлоке вдоль стен. Начальник полиции увидел нас и, сверкая огромными черными глазищами, как у негра, приветливо воскликнул:

— А-а, это наши гости! Откуда?

Мусабай воздел руки к небесам, быстренько прочитал шепотом несколько спасительных строк из Корана и ответил учтиво:

— Из Маргелана.

— Сколько же вас маргеланцев?

— Четверо.

— Кто же остальные?

— Ташкентцы, бухарцы, разный другой рабочий народ.

— Когда вы выехали из отечества?

— Двенадцать месяцев назад.

— С какой целью приехали?

— С торговой.

— Сколько вас человек?

— Сорок два.

— Имена всех? Был ли кто из вас прежде здесь?— любезность постепенно исчезала из голоса наиббека.

Но и мой Мусабай еще имел дух не теряться и отвечал твердо:

— Все имена и данные в списках.

— Что заставило вас приехать в страну незнакомую, отдаленную, подвергнуться опасностям как от бурутов, так и от суровой природы?— снова смягчил голос наиббек.

— Желание открыть дорогу себе и наследникам. Разве это не достойный повод?

Тут наиббек встал, выдвинул одну руку вперед и грозно произнес:

— Как вы смели вторгнуться в пределы наши, не объявив полно о себе в пограничном пикете? И зачем вы ложно показали численность людей?!

— Мы торговцы и не знаем, что такое вторжение,— с достоинством ответил ему Мусабай и откровенно обиделся, даже слезы выступили у него на глазах.

Пока я мысленно аплодировал Мусабаю, наиббек что-то туго соображал, стоя с простертой рукой, затем махнул ею и снова развалился на своей софе.

Подставной дядя мой сделал паузу, как бы пережил обиду, и с вынужденным покорством сказал:

— Если ваши люди в пикете даром едят хлеб и только тем и занимаются, что курят опиум, а писари там не умеют считать и путают людей с верблюдами, которых у нас действительно сорок, то это не наша вина. Кто берет государственное серебро, говорят должен служить без единой малой ошибки, иначе как им верить потом в большом?

Я давно заметил, что призывы блюсти государственные порядки производят на чиновников гораздо большее впечатление, чем какие бы не было другие аргументы. Кашгарский наиббек глубоко задумался над простой фразой нашего караванбаши, но задумчивость эту сразу же принялся сопровождать верноподданническими кивками. Вряд ли его голову, несмотря на весь его задумчивый вид, посетили какие-то думы, но это был обязательный ритуал, и мы покорно ждали, когда он вернется к нам из мира государственных размышлений. Наконец он последний раз обвел глазами сидевших

у стен на войлоках своих подчиненных и снова обратился к нам:

— Хорошо, я верю вам...— затем, как бы заскучав, нехотя задал еще один вопросик.— Меня интересует теперь одно, ответьте и можете идти торговать. Есть среди ваших людей русский чин? Мы так давно не видели русских, что хочется просто взглянуть на него,— и надул губки, как капризный мальчуган.

— Нет, среди нас нет ни русских чиновников, ни просто русских.

— Ай-яй-яй! Если бы вы, анджанцы, пришли к нам по пути, открытому для вашей нации, то мы бы вам поверили. Но вы шли иначе. Мог же к вам по дороге скрытно присоединиться какой-нибудь русский. Может быть, вы сами не знаете об этом, но у вас есть какие-нибудь догадки, так скажите их нам и сразу же облегчите свои души и судьбы.

— Если вас очень интересуют русские, так поезжайте к ним, к ним дороги открыты. Они близко здесь, в илийском округе.

— Вот видите, как они оказались близко к нам. А это чрезвычайно опасно!

— Что же тут опасного, если есть граница? Если соблюдать ее, то можно вообще никогда с ними не встретиться.

— Как же не встретиться? Если уже в вашем караване есть русский! Если бы его не было, то вы бы не шли из России.

Вот болван! Ему кажется, что он поймал за хвост дракона, а это был только его собственный палец. Поговорив так еще с полчаса, мы ушли. Но, к сожалению, этим наши встречи с властями не закончились. Через день, не очернив, слава аллаху, святую пятницу, нас повезли уже к хакимбеку. Не знаю, с чем это было связано, быть может, градоначальник хотел показать, что власть его распространяется не только на сам город, но встречу он нам назначил за пределами Кашгара. Пришлось в самое пекло выбираться за городские стены, где мы увидели у небольшого леса несколько шатров вокруг родника и какие-то сооружения из бревен, весьма похожие на виселицы.

До этого мы решили и перед хакимбеком не делать поклонов и не сгибать колен, а честно, как и наиббеку, отдать положенную взятку и приветствовать его как свободные люди. Но теперь же, увидев перекладину, Мусабай затрепетал и принялся щипать мне руку. Вообще-то порядочные люди в отчаянии щипают себя, но что не простишь «дяде»! Я уже стал бояться, как бы он не упал в обморок.

Шатры были окружены стражниками, конюхами, стремянными, которые являются здесь тоже высоким сословием. Все это составляло огромную толпу и черные подозрения нашего караванбаши увеличились, он еще сильнее побледнел и задрожал, при этом не забывая повторять свое обычное:

— Да буду я твоим серым ослом, какие расходы! Какие расходы!..

Если мы тут оставим наши головы, то расходы будут, действительно, большие. Нас ввели в двери центрального шатра, и мы увидели перед собой четырех сановников, сидящих в креслах. Один из них, черный, со следами оспы на лице, и с красным шариком на мундирной шапочке, так и не проронил ни слова. Расспрашивал другой, сам хакимбек, сидевший справа от молчуна:

— Откуда вы приехали? Сколько дней шли? По каким местам? Далеко ли русские? Кто из вас какого племени?

После этого уже привычного нам допроса, на котором Мусабай все еще держался молодцом, нас отпустили, велев вечером явиться с товарами во дворец хакимбека. Видимо, наши подарки его не удовлетворили. И все же то, что нас не сразу повесили, как-то нас ободрило, и мы, вернувшись к себе, с аппетитом пообедали, я даже вздремнул затем. Вечером мы были во дворце. Нас встретили, посадили в канцелярии и велели ждать. В это время мимо провели танцовщиц и во внутренних залах дворца раздались звуки туземной музыки и звон бубен. Сидели мы так долго, что я не выдержал и обратился к молодому чиновнику, караулившему нас:

— Скоро ли хакимбек нас примет?

Он засмеялся и сказал:

— Если бек водрузит знамя разврата, так уже не покинет это бранное поле до утра.

Вид у меня, видимо, стал крайне раздраженный, и этот чиновник протянул мне в утешение книгу, причем русского автора, вполне современную, правда, скверно отпечатанную и с множеством неразрезанных страниц. Я повертел ее в руках и вернул ему.

— Как?— удивился этот ловкий соглядатай.— Разве вы не читаете по-русски?

В эту минуту к нам вышел знакомый уже толстый мандарин с оспенным лбом и красным шариком на шапочке. Он шатался и не мог взять баланс. Увидев нас, он сделал неприятную гримасу и сказал по-маньчжурски:

— Пусть ждут,— и, подхваченный такими же страшно пьяными приятелями, прошел дальше.

Становилось совершенно ясно, что за всей этой историей

стоят маньчжуры. Оставалось последнее: обратиться в этой запутавшейся стране к третьей политической силе — к аксакалу, наместнику кокандского хана.

Мы с Мусабаем не сговариваясь поднялись и вышли вон. Перед домом все тот же мандарин, окруженный дружками, пытался вскарабкаться на низенькую лошадь. Это ему никак не удавалось. Наконец его потащили к колымаге и запихнули туда. Нас же ожидали грустные последствия.

Самое опасное произошло уже дома, когда под утро ко мне, еще не успевшему забраться после обязательной молитвы и омовения под пухлые крылышки Морфия, ввалился и тяжело протопал по комнате Акжол. Тяжело, потому что вышагивал он в позе, широко расставив ноги, и пытаясь свесить между ног несуществующее брюхо, очевидно считая его признаком высшего достоинства и важности. Пожевав губами, он нетерпеливо заговорил о своем намерении открыть мне государственную тайну, точнее, тайну государств, никак не меньше! Кратко, его тайна государств состояла в том, что знаменитый Шуна не умер, а долгое время скрывался у бурутов, но теперь перед великими делами он раскрывается. Да, он, Акжол, и есть принц Шуна! А сейчас он почти прибыл на свои родовые земли, право на которые записаны в том документе, который он, из-за благосклонности ко мне, показывал в Ташрабате. Здесь в своих пределах он намерен вновь поднять народ и восстановить все свои права. Быть может, в другое время и я разъяснил бы этому горе-самозванцу, что те дарованные века три назад Давлет-Гиреем земли некоему татарину давно уже владения графа Безбородко или князя Юсупова и находятся совсем в другой стороне, и что там, среди бахчи азовских арбузов, вряд ли можно кого-нибудь поднять, но ужасно хотелось спать, веки слипались, и я в согласии лишь махнул рукой, почти падая головой на твердую ватную подушку. И вот тут он изрек такое, что мне сразу стало не до сна:

— Я знаю, что ты, Алимбай, русский офицер. А так как мне лично русским царем дано звание командующего русскими войсками, то ты обязан служить мне и выполнять мою государеву волю.

То, что беки искали среди нас русского, было вполне естественно, как и то, что в каждом караване, вышедшем из Индии, они на всякий случай ищут франка. Все эти их поиски пустые хлопоты, искать они не умеют, служат государству скверно. Но то, что этот трепач указал именно на меня, ставило под угрозу всю нашу экспедицию. А ведь как тща-

тельно мы готовили ее. Никто не мог знать обо мне, кроме караванбаши Мусабая.

Мы исключили, казалось, любую, самую невероятную случайность. В расчет брался даже некий регент Кузнецов, болтавшийся в Коканде и знавший меня со стороны, из-за него мы пошли не обычным путем, а через малознакомые горы, рискуя переломать все свои кости. И надо же, какой-то болтливый детина, неуч стоит и тычет в меня грязным пальцем! Мало того, он принялся приказывать мне и говорить совершенно гнусные вещи:

— Я решил уйти сегодня и для восстановления имени мне вначале нужны средства, поэтому ты сейчас же передашь мне казну каравана. И не смей шутить!

Следовало его немедленно отхлестать кнутом, но в силу отсутствия этого замечательного инструмента, я вынужден был встать и за ухо выволочь его за дверь.

Утром, обсуждая наш предстоящий визит к аксакалу, я попросил Мусабая взять с нами этого нахала и болтуна. Караванбаши так был подавлен свалившимся на него испытаниями, что не в состоянии был ни удивляться, ни любопытствовать и велел кликнуть этого работника. Акжол присоединился к нам на улице и хотя в позы не вставал, но по всей его щенячьей фигуре чувствовалось озлобленность и решительность укусить.

Мусабай, как и было положено, по приходу в Кашгар, первым делом посетил аксакала, передал ему рекомендательное письмо от своих влиятельных знакомцев и Кокандского ханства и оговорил зякат: с сорока по одной, что составило сразу сто двадцать четыре золотых и еще четверть, не считая баранов. Теперь мы снова несли «юсун», точнее, тюк с подарками нес Акжол. Заприметив груз на спине нашего слуги, выдрессированная стража пропустила к аксакалу немедля. Сам же аксакал, истый узбек, прямой, добрый, но ужасно мужиковатый, увидев нас, панибратски закричал:

— Ха! Что вас так давно не видно, господа? Представились и вдруг исчезли, как багдадские воры,— и захохотал, довольный своей шуткой, при этом похлопывая нас по плечам и загривкам, а так же по тюку, возвышавшемуся на Акжоле.

Вместо того, чтобы веселиться вместе с ним, мы с Мусабаем неблагодарно разом опечалились, что, впрочем, аксакал не заметил. Он тут же заговорил о кашгарских женщинах. Затем, не прерываясь, перешел на анекдоты, идущие к предмету и не идущие. Он уже седьмой раз был женат в

Кашгаре и смотрел на женщину как на вещь, даже хуже, как на негодную вещь — азиат! Наверное, это продолжалось бы вечность, если бы Мусабай, известный во многих караванных дорогах как мужественный и отчаянный караванбаши, не закрыл рукавом халата свое лицо и не зарыдал, горько всхлипывая, как дитя. Кокандский сановник изумился столь странному поведению купца и прервал свой монолог. Этого было достаточно, чтобы я вступил в разговор:

— Таксыр! Мы измучились как самые проклятые из проклятых, как самые обиженные среди оскорбленных! То зовут на допросы к наиббеку, то к хакимбеку, то к собаке беку, то к свинье беку, а беков в Кашгаре больше, нежели волос у шайтана на хвосте, да не будет упомянуто имя этого проклятого существа. На все вопросы мы дали ответы, так все равно нас мучают, зовут показать товары, а сами напиваются с кафирами, призывают танцовщиц, а мы сидим без еды и чая в темной комнате, лишенные возможности и торговать и помолиться. Избавьте ради Всевышнего, Таксыр! Мы совершенно сошли с ума!

— А что им надо от вас, бедных?— участливо спросил аксакал, настолько участливо, что не стоило и отвечать: конечно же, и он был в курсе событий.

— Нас считают за русских, таксыр, пришедших взять Кашгар,— под всхлипы Мусабая продолжил я.— Мы имели несчастье привезти русские товары. Но им не товар нужен, а русский. Что ж, признаюсь, этот русский я.

При моих последних словах Мусабай перестал рыдать и так затрясся, что мне слышны стали клацанья его зубов. А у Акжола отвисла челюсть и вывалился язык да в такой степени, что, когда я указал на него и сказал, что этот человек может подтвердить мои слова, он и рукой не мог затолкать его обратно. Думаю, надолго он лишился способности краснобайствовать.

— Ай-яй-яй,— еще более участливей и приветливей как мог, произнес аксакал,— что мне слова вашего раба, ты сам скажи, русский, какого ты сословия и чина?

— А какого вам будет угодно, таксыр. Мне все равно,— голосом самоубийцы произнес я.— Пусть лучше полетит моя голова, чем разорится весь наш дом.

Наступило молчание. Аксакал рад был продолжить свои анекдоты, но вопрос был поставлен так, что он вынужден был принять какое-то решение. Наконец он спросил:

— А может быть, вы мало дали?

— Помилуйте, таксыр,— вскричал Мусабай.— Давали и рады бы дать сверху, берут, но при этом еще и издеваются.

Хоть бы позволили продать товары по самой низкой цене, тогда бы и я на радости признал себя и русским и китайцем!

— Это нехорошо,— философски произнес аксакал.— Государство без взяток несовершенно, это было известно и древним, но нельзя же допустить, чтобы дача шла не в укрепление государства, а на произвол и издевательство!

Затем он, оставив философские нотки в самом голосе, затопал ногами и закричал на своих приближенных, стоявших вокруг с готовыми к делу саблями и чернильными перьями:

— Как вы позволяете, отчего не заступаетесь?!— и после этого снова обратился к нам.— А вы, дорогие купцы, с сегодняшнего дня не ходите ни к одному из этих свиней, а если кто-то из них осмелится вам что-нибудь сказать, я, при помощи аллаха, оскверню его дочь и сделаю смятение не хуже мятежного ходжи!

Мы выбрались из дворца аксакала вполне довольные, правда, Мусабай еще долго укорял меня за авантюризм и риск.

Неудачливый самозванец же исчез. Это, признаться, было жаль, стало чуть скучнее без этого караванного фантазера. Да и польза была от него. Кто же как не он подсказал мне гениальный ход легендарного Шуны: никогда люди не поверят в то, что человек сам способен искать себе смерть. И верно, для меня все закончилось благополучно. А вот заступившегося за нас и возводившего взятки в ранг государственной системы аксакала-наместника, как только появилась в европейской печати моя статья о неведомой стране Кашгар, вызвали в Коканд и казнили.

СЮЖЕТ VIII

Об алпах и мальчишке, в семь лет мужчиной ставшем

В последнее время, благодаря неусыпной полезной деятельности Географического общества, сведения наши о Азии распространились быстро и широко. Но, вместе с тем, по естественному ходу вещей в «Записки общества» вкралось несколько сомнительных повествований о том, чего нет и чего, может быть, машаллах! господа, и никогда не будет. Это не обязательно относится к европейским исследователям. Послушайте рассказы наших казахов, побывавших в

Петербурге и Москве. Вы услышите от них такие чудеса, о существовании которых вы, живя десять тысяч лет в Петербурге, и не ведали б. Часто бывает, что путешественник человек простой, доверчивый и соглашается при сильных впечатлениях увидеть то, что невозможно увидеть. Бывает, что просто близорук: черепицу на китайских домах принимает за тес, а стены, битые из глины с нарезами, за бревенчатые. Эти грехи неумышленны. Но бывают грехи другого рода, особенно когда вы доверяетесь авторитетному лицу. Скажем, если мусульманин попал в страну кафиров, то он уж обязательно заподозрит тех людей, с кем ему придется сталкиваться в желании сделать что-нибудь во вред исламу и, вообще, что нужно этим неверным от него и не желают ли они воспользоваться его словами ли, поступками ли, чтобы из нас, мусульман, сделать нечто менее собаки? Согласно это arriere penssee он по приезду на родину говорит вам факт, диаметрально противоположный истине, и рассказывает, что против китайца христиане ужасно грубы, так же как сами китайцы против нас правоверных. А поэтому желательно было бы, чтобы господа собиратели обращали больше внимания на источники и старались соблюсти точности, а потом бы уже печатали то, что вероятно, а не цеплялись за свои двусмысленные убеждения о других странах и народах.

Когда любой кочевник начинает свой рассказ, вы видите ясно по его ухмыляющемуся и довольному лицу, что он ждет похвалы и жаждет извлечь из вас крики удивления вроде: барак алау! афромай! дари-гай! и прочие. Что может занять казаха и вообще азиатца, воспитанного на фантастических сказках о Сулеймане, владельце волшебного кольца, о Сейфуль Малике, царевиче багдадском, который был на острове добрых духов Пери, видел амазонок, у которых мужья имеют собачьи головы, и в которого, наконец, была влюблена царица обезьян? Всякого бывалого человека они засыпают вопросами, вроде следующих: «Хаджа, вы были в Мекке, проходили по многим землям. Ну что, как вас приняла царица обезьян и видели ли вы фараона, который обратился в рыбу и всякому путешественнику, высунув голову из вод Черного моря, кричит в титуле своем: «Фергаун!» Да пусть никто не сомневается в том, что вы порядком отдули Язида, убийцу внуков Пророка в пустыне Кербальской (да будет над ним проклятье). Правда ли, что за убиение Хасана и Хусейна он обратился в рыжую собаку с черными пятнами над глазами?» Нечего говорить, что ответить на все это отрицанием значит подвергнуть сомнению свой авторитет. А потому я, принимая во внимание мудрую поговорку:

«Приноравливайся к народу и под его дудку, как иноходец, беги», продолжу эти записки. И пусть звучат восклицания «бара-келде, бале!» отовсюду, а чувствительные дамы рассочувствуются до того, что начнут рыдать, узнав, что собаки-ваххабитты хотели похитить священный прах Пророка и вместо него (не мои уста это говорят, а вопят слова ваххабиттов, да проклянет их аллах!) положить дохлого пса для посрамления всех правоверных.

Отчего мне, к примеру, не мудрствуя лукаво, не настрочить рыцарский роман, полный настоящих небылиц a la «Айвенго»? И если sir Scott использовал шотландские саги, то отчего бы вашему покорному слуге, бедному армейскому чину, потерявшемуся в Азиях и тайно алкающему славы, но при этом не оставляющему еще надежды стать эмиром, скажем, Малой Бухарии или самой Индии, не воспользоваться героической сагой дикокаменных киргиз о неком богатыре Манасе? Тем более что о ней слыхом не слышали не только какие-нибудь Вальтеры Скотты и Байроны, но и здесь рядышком в Ташкенте. А между тем эта сага целая энциклопедия, собрание всех сказок, повестей, преданий, географических, религиозных, умственных познаний и нравственных понятий. «Манас» — произведение гения целого народа, вырастившего плод, который созревал в продолжении многих веков. Этот народный эпос нечто вроде степной Илиады. Трех ночей недостаточно, чтобы прослушать «Манаса», столько же нужно для Манаса второго — сына его Семетея.

Манас, сын Якуб-бая, бия одного ногайского поколения, кочевавшего по Таласу и Чу, рос не по годам, а по дням, и шестнадцати лет сделался батыром. У него было, что особенно меня умиляет, чрезвычайно чувствительное сердце: он очень любил хорошеньких женщин. Чувствительность его превосходила все границы. Все земные трудности в получении руки ханской дочери, у которой «... лицо было, как снег, а ланит румянец ал, как кровь, упавшая на снег» не остановили его. Как только он узнал, что у калмыцкого хана есть такая дочь-красавица с волосами, ниспадающими до пяток, он в тот же час отправляет своего старика сватать ее. Хан, естественно, оскорбился и дал следующий ответ: «Руби, руби лес, по себе с равными сватайся, вези, вези хворост, по своему очагу сучья; моей дочери приличен ханский сын, твоему сыну хватит и бийской дочери». Разумеется, юный Манас тут же начинает войну и с оружием в руках добывает себе длинноволосую. Но на этом не останавливается, и войны его следуют теперь одна за другой и яблоком раздора обычно служат опять девицы, «имеющие пятнадцать лет

возрасту, с запахом, подобным мускусу, и с зубами, подобными жемчугу».

В конце поэмы у Манаса, прославившегося на весь белый свет задиристым поведением, собираются в гареме сто царевен разных наций, которые от близкого нахождения начинают свою войну теперь уже за Манаса, что вполне соответствует браннолюбивому духу того времени. Сюжеты этой саги бесконечны, но удивителен и прекрасный язык. Что стоит, например, отрывок из нее: «Поминки Кукотай-хана»!

То была лука золотого седла,
то был хан мудрый, как месяц, что освещает звезды.
То была узда из литого серебра,
то был отец густого, как ночь, ногайского эля,
И он, светлейший Кукотай-хан,
собрался оставить замиренную им же землю.
И на смертном ложе, что лодкою краями высока,
воскликнул он:
«Те, кто у ног моих, садитесь на коней
и пройдите весь с конца в конец улус ногайский.
Скажите биям с животами, отвисшими
как щиты из кожи яков в семь слоев;
скажите витязям рыжебородым, густоусым;
скажите молодцам с загривками на затылках дерзких;
скажите мурзам, пьющим мед из чаш, что весом в батман,
скажите мурзам, шатающимся, но стоящим на ногах;
скажите всем и всем!
Скажите, что Кукотаю стало тяжко,
скажите, что встал невольно он на край.
Так соберите всех!
Желаю я исполнить долг свой первый:
назначить по себе поминки;
И долг второй:
завет сказать свой вольный вам.
бесчисленный народ ногайский мой!
Тоска сковала мое сердце, нет сил,
коль свыше глас позвал меня уйти, остаться с вами,
добрый мой народ.
Я прожил сто и девяносто девять лет,
и искрошилась моя челюсть,
и череп оголился до белизны костей,
и ребра слежались как хворост в связке —
душе моей противны стали мощи эти!
Так на коней садитесь и всех зовите».
И было сказано и было свершено.

И с гулом упали на ставку хана Белую Орду
ногайцев толпы, собою затмевая свет.
Внимайте, то рушится утес в ущелье,
то голос хана Кукотая зазвучал,
то сосны заскрипели в ущелье между гор,
то молвил хан ногайский перед смертью:
«Народ мой! Когда меня не станет,
острой саблей оскребите мои кости,
костям младенца уподобив этим их,
каким когда-то уходящий я, вошел:
затем омойте их кумысом терпким быстрых кобылиц —
от тысячи, как ветер Улана,
путь предстоящий долог.
Укройте кости плотно белым полотном,
на красных одногорбых наров набросив красное сукно,
на черных одногорбых наров набросив черное сукно,
идите с караваном из сорока верблюдов, орущих дико,
идите с саваном моим к моей могилы срубу,
что рублен из мореных стволов дубовых.
Пусть сарт с лицом подобным бронзе,
над срубом тем, что ляжет перекрестком дорог
больших и малых,
дворец воздвигнет белый, словно месяц,
но с куполом лазурным, луне подобным.
Для стен вы глину замесите на жире
лишь окотившихся на утро коз,
тогда не упадут они от гнили.
Одев дворец тот завитками,
над ним навесьте медные карнизы, желоба,
по ним пройдут, меня минуя, ливни и град, и пыль.
Тем бабам, что будут в оре траурном рвать рот,
допущенным ко мне скорбящею толпой,
раздайте красное и черное сукно;
верблюдов на заклание отправьте
и поминальный обед готовьте
и к трапезе обильной несите вы напитки,
на блюдах будет пусть лишь мясо с жиром сладким.
Затем вы выставьте на приз верблюда
с рабом нестарым меж двух горбов
и в пятницу пустите лучших скакунов,
загнув им потники,
на бег, что завершит ту тризну.
Ты волю исполни же последнюю мою,
Народ!
Как прежде оставайся расторопен, удачлив, вечен.

Нет больше слов мне вам,
нет вам и теперь заветов.
Будь счастлив, мой народ!
А ты же, Баймурза, сын необхватного отца,
склонись ко мне и ухо приложи к устам моим.
Услышь же, что я и мышеловки заставил птиц ловить,
из них затем я стаи составлял.
По всей степи собрал я тех,
кто в страхе жил разбито, одиноко,
и тех, что в спеси знать меня не захотел,
их всех я обратил в народ единый,
как лунь в ночи над ними встав.
Теперь же я велю от имени народа:
Когда меня не станет, ты, Баймурза,
владеющий обильными и сытными стадами,
возьмешь поводья в свои руки,
не распусти же люд, не дай шататься праздно им,
паси и семижильный кнут не оставляй.
Свободу каждому от каждого не дай
и этим пресечешь свободу в каждом.
Когда меня не станет, дай мужчинам всем по лошади,
на всадников ты обопрешься,
и оборванцам ты накинь халат на плечи,
теплом от них согреешься потом.
Народ тогда в покое станет юртами,
когда одной рекой течет кумыс, другой — айран молочный.
Когда меня не станет,
найденыша дитятю Бок-Муруна себе возьми,
пусть в имени его исчезнет оскорбленье,
ты сопляком, щенком, ублюдком его не называй,
не попрекай безродством;
ему, сиротке, дай коня и платье гожее,
корми же сытно, без попреков.
Пройдет лишь год, не больше двух,
он встанет и будет человеком!
И равен будет всем по силе,
но духом несравнен будет.
Тогда стелите вы в степи кошму, отбеленную молоком,
и поднимите Бок-Муруна ханом над собой.
Сын бая, Баймурза!
Склони ж еще раз голову ко мне.
Когда наступят дни моих сороковин,

перекочуй с улусом всем к батыру Кунурбаю,
что горбонос и прозван Гордецом,
и трапезу при нем устрой
от дома моего.
Когда ж наступят дни Великой тризны,
и в этот раз ты, не смущаясь духом,
веди кочевья в Андижан к тому батыру,
что грыз и отжирел на яблоках,
их заедая непропеченным хлебом,
который в двенадцать лет уже владел рукой стрелка,
перебивая яблок черенки,
что скрыты были от него густою кроной, стрелой,
валяясь на земле лениво;
к тому, кто отправляясь на войну,
велел испечь ему лепешки,
разбившему так скоро всех соседей,
что ему пришлось по возвращенью есть хлеб непропеченный.
Одним же словом:
к годовщине моей смерти иди к Манасу,
юному Якуба сыну,
и возвеличь при нем уже мои поминки,
среди его аулов в лощинах андижанских,
в которые он гнал чрез ледники со всех сторон
добытый скот в набегах беспощадных.
Меня ты спросишь: каков батыр Манас?
Отвечу: подобен волку он,
что с гривой из каленого металла,
а кровь его черна, но тело бело,
лицо из льда, живот же волосат,
на копчике же синее пятно.
Откочевав к Манасу, у него,
по мне вы справите большую тризну,
собрав всех мусульман, да и кафиров, впрочем,
всех тех, что знал меня и слышал обо мне,
пусть будет праздник тот велик и весел,
и лишь тогда вы, сбросив с плеч мои желанья,
обретете наконец покой «достойный».
Хан Кукотай закрыл глаза,
и в этот миг душа его с томленьем
оторвалась от тела дряхлого
и тучей, что мечет молнии и громы,
устремилась в Небо.
И непроглядная, как ночь, толпа ногайцев взревела,
и от плача этого верхушки всех урюковых деревьев
скосились вмиг окрест;

и закричала, застонала,
от ора этого покрылись трещинами скалы все вокруг
Однако горе как положено отгоревали,
исполнили прилежно все обряды
и кости хана на коне, что
был окован доспехами из стали
и с красным караваном, с черным караваном
неспешно к срубу довезли,
над срубом тем могильник возвели
с лепными завитками и с желобами,
что тропами прошли как по горе.
Народ обильно ел и рвал сукно в достатке
и первые поминки отошли.
Народ как просо не рассыпался
и не разлился струйками мочи бегущего теленка,
народ пошел ногайский на землю Кунурбая,
по пути встав на Чибпатчи,
где табунами кобылиц вязали,
на Ибратчи стояли,
где скот в гурты сбивали:
лишь табунами и гуртами добро свое они считали.
Пришли к китайцам, к ястребоносому батыру Кунурбаю,
и принял он от них
чубарого коня и иноходца пестроголового,
и принял их,
и у него народ ногаев отметил
поминки сорокового дня
и год затем прожил в разброде.
Не пролил Баймурза кумыс,
что рекою лег бы справа,
не пролил Баймурза айран,
что лег бы слева потоком сытным.
Но время нужное пришло,
опять сошлись рода ногаев держать совет
своими юртами взяв в круг белеющую сопку
ее сочтя за пуп единственный земли:
как быть с Большою тризной Кукотая,
чей дух еще витает над ними?
Как быть им с тризной,
если сын Якуба вздорный Манас
им отказал в приеме
в урочище своем под ледниками!
И заявившим, что видеть их желает,
лишь подданными ему как хану!
Сошлись и совещались день, второй и месяц и

второй
бии, чьи животы как щиты плотны,
витязи, чьи затылки гривасты,
мурзы, чьи жбаны с медом еще не опрокинуты,
И Баймурза думал так упорно,
что мочился кровью, а потом мочой.
Так в думах не заметили они,
как в один день оставив нянек и муллу с пером,
найденыш Бок-Мурун от роду шести лет
сам оседлал коня по кличке Манекерь
и въехал в круг и голос дал:
«Эй, Баймурза, сын богача, брат старший!
Ты держишь каждый день совет,
но где же дело?
На пальцах у тебя лишь золотые перстни,
и на коне твоем седло с златою лукой
и золотого лития подхвостник и уздечка,
и золотом все тем же убрано копье,
но есть средь табунов конь толстогубый, серый,
не оседлать тебе его,
он подо мной,
но есть поминки Кукотая-хана,
названого моего отца,
но ими распоряжаться буду я,
К Манасу в Андижан, собаке корноухой, рыжей
народ свой не пущу.
Желаешь быть рабом — иди один.
Народу моему с тобой не по пути.
Я, Бок-Мурун, найденыш хана Кукотая,
так решил:
я поднимаю весь улус ногайский,
без крика развяжут бабы жерди юрт,
без клекота на плечи охотников переместятся беркуты,
без блеянья погонят мужики гурты баранов рано утром,
без рева двинутся верблюды за стариками,
без плача дети потащут скарб за караваном.
Так подниму народ я многочисленный ногайский!
Велю я пешим дать коней,
а голотелым я распоряжусь халаты дать
и первым я пойду.
Я на болотах Кузыбашских остригу овец,
а на большой Актам прийдя по краю Иссык-Куля,
исправлю я поломки все в кибитках,
оттуда поднимусь на Тиек-Таш,

на берегах Джалачане в единое я соберу стада,
я по течению реки Или широкой,
оставив хлебопашцев на красноземельном клине,
я на Тургень-Аксу всем отдых дам —
и табунам, и людям,
но не снимая вьюки с верблюдов.
У Тус-озера я соли наварю,
навьючив шестьдесят ослов тюками с солью,
я выйду к кочующему на солонцах Джузию-хану,
азартному в игре и в скачках,
чья шапка, как котел огромный, черна;
и с ним, я, побратавшись, буду дальше кочевать,
с ним, кому подвластны неверные там за Алтаем.
К нему с улусами я прикочую,
и стану ставкой рядом,
тем знак подам калмыкам,
что я готов быть братом им.
Со знатными я буду знаться,
безродных я приближу и укрою полой халата своего.
Как честь свою, я подкую
серебряной подковой лошадь белую,
на ней я поднимусь затем к верховьям Иртыша,
идти я буду день и ночь.
В горах верховья через Биштерские хребты спущусь,
пройдя сквозь воду бешеной Джурги,
направлюсь я на Мула-Хургай
и там, как на ладони бога,
остановлюсь под Бурун-Ташем.
Шесть дней я дам — пусть кони отдохнут,
семь дней пройдет — народ переведет дыханье.
Дождусь я там торговый караван,
придут ко мне все девяносто вьюков с рисом,
и, наконец, пройду я в область Внутреннего ханства,
там я на Енисее седлом и Оби властной
устрою тризну Кукотая!
Велю я землю ровно раскатать,
на ней поставлю очаги
и с ними рядом без счета буду резать скот,
и снова все кругом покроется буграми,
но будут то не валуны, не кучи глины,
а блюда с мясом горячим.
Шесть тысяч молодцев с руками белыми и лицами
как луковые дольки,
заставлю мясо то крошить,

дав каждому я в руки по кокандскому ножу,
и чтобы жир им не стекал на локти,
велю запястья обернуть я плотным шелком,
и молодцы чтоб те не притомились,
в котлах велю я заварить им чаю.
То будет лишь одна трапеза
на годовщине Кукотая-хана,
где будет круглый мир:
неверных половина сойдется с половинкой мусульман,
Всех соберу!
Что будет дальше на этой Великой тризне,
увидите потом».
Все это выслушал в терпенье
народ ногайский
и удивился дерзости и разуму и долгому расчету
найденыша, что прозван Бок-Муруном.
Затем кошму на травах расстелили
и молча его подняли ханом над собой.
А утром рано поднял народ хан Бок-Мурун,
без шума сложили юрты бабы,
мужчины беркутам накинули всем колпачки
и вынесли на свет, и те не клекотали.
Навьючили поклажу на верблюдов,
погнали в стороне гурты баранов,
и табуны коней прошли без шума.
Был долгий путь,
и вот на верхнем Иртыше встал ставкой
хан Бок-Мурун ногайский
и с ним народ, густой как ночь.
Да, Бок-Мурун поставил на холме высоком
юрту Кукотая,
и она, как лебедь белая, в своем гнезде уснула.
Вокруг на десять верст
костры горели под котлами,
покой и благодать всех охватили.
Затем все так же величаво, храня достоинство,
прошли к истокам Оби с Енисеем
и приступили к подготовке тризны Кукотая,
отбирая жирных кобылиц
и составляя сотни рубщиков туш мяса.
Созвал к себе из всех аулов, ему подвластных,
юный хан мужчин,
чтобы решить, кто будет его посланцем в народы.
И он сказал тогда мужчинам чернобровым

и быстрым юношам, готовым и есть и спать в седле,—
и, не слезая с бегущего коня, справлять нужду,
при этом не бросая пик с значками,
все ради бега быстрого и вести скорой:
«Есть у меня шестьдесят коней-аргамаков,
любого выбирайте,
есть у меня семьдесят жеребцов-иноходцев,
берите любого,
есть у меня восемьдесят скакунов-бегунцов,
возьмите одного из них.
Много у меня в табунах золотистых лошадей,
но лучше всех Саврасый,
огромный как шатер,
отец мой названый на нем сидел.
На Игривой кобыле мать моя названая ездила —
нет выбора удачней.
Резвый, с выгнутой, словно постель, спиной,
был у сестры моей, я и его отдам.
Но первым назову я в табунах
белого Айгыра,
хотите если знать о нем, я расскажу:
грудь его крепка, как щит циклопа-великана,
а под хвостом его чернеет пропасть со скалою,
и котловина меж его ушей.
в ней ливень наполняет озеро
и не испить его куланов стаду за раз,
На нем любой промчится год —
и он не отощает,
а вырежь из его спины кусок,
он и не вздрогнет,
вам не найти коня для глашатая тризны лучше.
Кто сядет на Айгыра?»
И потянулись к белому, как снег, Айгыру удальцы,
лишь сын сары-ногаев густочупринный Яш-Айдар Чора
встал в стороне.
К нему и обратился хан Бок-Мурун:
«Сын сары-ногаев батыр! Ой, Яш-Айдар Чора!
Дай голос, не лживо и живее.
Я тризну объявил Кукотая,
каков твой выбор будет?»
Тогда батыр густочупринный отвечал:
«Рожденный ханом быть, мой Бок-Мурун!
Велел ты говорить, и говорю я,
под тобою конь Манекерь,
дай его мне, я поведу.

Дай мне его, в горах рожденного
и на камнях ходившего меж диких коз,
железнокопытного, медноногого Манекерь-коня.
На нем поеду я к народам с вестью,
я к великанам-алпам всем заеду, не зная страху,
батырам, что не желают говорить, но бьют смертельно,
к отшельникам, что силу прячут из опасения убить случайно,
всех зазову на тризну Кукотая!»
Ответил ему юный хан тогда:
«Ошибся ты, мой Яш-Айдар Чора.
Да, подо мною Манекерь,
но я его не испытал, на что способен он, не знаю.
Через горы прыгал он,
как архар — ты опрокинешься спиной.
Он в пропасть ныряет уткой — упадешь ты головой вперед.
Он мною не испытан,
я знаю только, если хочешь знать:
когда мы шли через Талгар,
река была в разливе, в буйстве топила лодки,
на нем я переплыл, ног не сжимая,
когда мы шли пустыней и корма не давала нам земля
он ел один песок и сыт был им одним.
И когда мы ворвались в Куркуль,
он скакал с перебитыми стрелами голенями первым.
Ты ошибся, Яш-Айдар Чора,
не проси Манекерь-коня!»
Но Чора, сын сары-ногаев, стоял на своем
в споре, длившемся ночь.
И тогда юный хан сказал:
«Быть тому! Ты один знаешь цену коням.
И один можешь быть глашатаем тризны!
Ты одел белый панцирь и сел на коня Манекеря,
погоди же еще, мой брат Яш-Айдар,
придержи ты поводья и слушай.
Я тебе расскажу, к кому едешь ты,
об алпах и их конях.
Стоим мы всем улусом среди неверных,
как блоха в мохнатой яка шерсти,
я соберу их сам,
ты же прежде скачи к батыру,
что кочует среди гор Улу-Тау
и держит на привязи Мадьяна-коня,
вот кто первый придет на байге поминальной!
А затем ты иди к Ер-Косаю,

что сидит на дороге в Турфан,
держит эту дорогу,
над народом своим он стоит,
словно вышитый золотом ворот над халатом долгополым,
все товары базарам Руфана он дал
вместе с пылью дорожной, но и пыль у него стоит цену,
как придешь, ты скажи ему так:
Ер-Косай, коль на тризну коней не пошлешь,
Бок-Мурун закопает дорогу твою!
Когда Джангара сына, неверный Мез-Каза в темницу заточил,
Что родом из ходжей,
святых, несхожих с нами,
никто из мусульман не возмутился,
лишь храбрый Кошай-бек не устрашился,
святого вызволил и этим укрепился.
К нему затем ступай, зови Кошая,
но про байгу пусть не забудет,
а если нет, я знамя Кукотая
златое и цветное воздвигну над юртою его
и этим изничтожу.
А от него промчишься, держа поводья прямо,
ты к Урбэ-батыру,
что сидит на Киши-тау горе
и пуще глаза своего лошадку вещую он бережет,
тот вещий конь подобен соловью,
живущему в садах персидских,
но черен, словно уголь обгоревший.
Урбэ по прозвищу, по имени Мунку
один когда-то овладел тюками с золотом огромного народа.
но так прижимист, что не даст и мерина плешивого родному брату,
так и сидит один на тех мешках,
пусть будет он на тризне
и вещего коня с собою приведет,
а не захочет, пусть ждет он в гости знамя Кукотая!
А от него поедешь к внуку Камбар-хана,
к Ир-Коче, презревшему богатство,
пусть приведет с собой Серке,
коня вернокопытного, в степи давившего куланов диких,
и остробоких осетров в воде могучих рек гонявшего,
и птиц за облака толкавшего губами,
придет с Серке — получит приз,

а не придет, веселье наше его последним будет.
Оттуда ты поедешь, ровно повода держа,
к Аргыну, что с конем Хожашем,
и к Четчу, что с конем Бейгу живет как с братом,
и скажешь тем батырам: ждут.
Дуюр-Кулаку с чугунным ухом тоже скажешь:
быть на тризне.
А есть еще саврасая кобылка Урху на этом свете,
на память всем она приходит своим ходом,
ее владелица Урунха-хатун, то баба-богатырь,
и ей ты весть доставишь.
К концу поедешь скоро к Идне-батыру,
он упирает сильно ноги так,
что невольно копьем своим дырявит небо.
есть у него конь серопегий бегунец,
что был рожден, как говорят, не кобылицей, а конем!
За ним своим улусом стоит Карачу-батыр,
все видят под ним лишь черную гору,
то не гора, а черный конь по прозвищу Гора,
Стоит, не шелохнется.
Пусть едет к нам и он.
Есть в тех краях другой
батыр,
рожденный молитвами угодников,
любимец Магомеда святой Тускук,
завидный иноходец Пламя-хвост под ним,
его ты тоже позовешь.
За дальними горами средь двух хребтов
увидишь сына старикашки,
что доил всю жизнь одни березы,
и сам он глуп,
но у него, батыра Алпай-Мамета,
есть жеребец с названьем Белый Заяц,
с մослами на ногах легчайшими на свете,
и он пусть скачет к нам на тризну, на бега.
Но помни и не забывай в пути ты о Манасе.
К Манасу этому ступай, скажи, что — желаю,
на поминальной на байге увидеть и его коня,
под золотым седлом, как серна в беге быстрого,
с копытами в обхват сорокалетнего обжоры,
с ушами чуткими как стебли камыша,
с оскалом жутким как капкан тигровый,
Его коня Желто-саврасого желаю видеть,
пусть приведет его на скачки,
пусть посмотрит на стойбище мое».

И тут упал на землю густочупринный Яш-Айдар Чора,
и разбивая пальцы в кровь о корни под землею,
сам прорастая в эту землю пальцами как цепкими корнями.
Был он хитер и ловок,
себя рабом он не считал и все же
завыл и застонал как раб:
«О Бок-Мурун, мой господин, торе!
Пойду ко всем батырам, алпам я
и с ними приведу коней насильно и добром,
но не пойду к сыну Якуба-бия Манасу,
но не хочу я умереть.
Все тридцать дней я проведу в седле,
всех обойду, и на тридцатый день Манас меня растопчет,
четырнадцать кругов по свету совершу,
объеду страны все,
и, завершая круг последний, умру я под Манасом.
Не я один, отец несчастный мой
И мать-старушка умрут от горя.
Пожалей!
Дай обойти же мне Манаса,
он слов не слышит, людей не видит,
он слушает и видит лишь себя, огромный.
Я не пойду к Манасу!»
Тогда сказал хан Бок-Мурун печально:
«Что ж, не ходи, я сам пойду
и приведу на тризну Кукотая Манаса
и выведу его Желтого-саврасого я на байгу,
а ты останешься и дальше поведешь всю подготовку тризны,
но помни,
лишь байга начнется,
я тебя поставлю первым призом,
а старика отца и мать твою вторым я призом».
Тогда ходивший важно Яш-Айдар Чора
вскочил и крикнул в отчаянье и страхе:
«Иду!»
И заключил такими вот словами речь свою хан юный Бок-Мурун:
«Сдержи себя и голову коня, остановись.
В пустыне Туркестан ты встретишь Ясави-ходжу,
с посохом в руке,
с которым идет он по дороге божьей,
пусть даст благословенье тризне Кукотая он.

Последнее, на холку Манекеря ты прикрепи бумажку
и отмечай на ней всех тех, кто приглашен,
хочу я знать затем число!
Сдержи коня еще.
О призовых дарах я не сказал.
Признаю головой я девять шуб парчовых
и девяносто рабов я ставлю, и девяносто рабынь,
к ним ставлю девять я верблюдов,
лошадок девяносто и девятьсот овец.
А называть последующие все награды мне недосуг,
но все участники байги получат
верблюда,
на нем рабыню с дитем
и вьюком с юртой, крытою сукном.
Так будь здоров в пути и невредим, мой глашатай,
и возвращайся скоро,
чтоб не остыло мясо для тебя на блюдах.
Беги!»
Взмахнул рукою Чора-посланец,
и в спину Манекеря твердую, как камень, впилась
нагайка,
как игла,
и выбросил вперед копыта Манекерь,
и разом сбросил жир с себя,
что равен весу теленка,
и тонок стал как борзая, о, чудо конь!
Впилась с другого бока опять нагайка,
как клинок,
и, сбросив вес еще с барана,
стал легок как степной зайчонок Манекерь!
Пасть разевая как дракон,
он на скаку от горизонта к горизонту протянулся,
как струйка дыма,
и стал невиден,
лишь пена с кровью отмечала на земле
пространство, что перепрыгнул он,
да слышен страшный стук копыт:
топ!!! топ!!!
Долго ли, нет, но время пришло,
собрались на верховьях Оби и Енисея алпы
и встали отдельной крепостью
напротив ногайского улуса,
не принимая мяса и напитков,
и отвергая танцовщиц и прочь гоня к ним слуг приставленных.

Сидели грозно, думали.
Решили:
за то, что дерзко так зазвал на тризну Кукотая-хана,
что признан всеми, народами и племенами,
их сопляк-найденыш,
от уважения к тому, кто отлетел,
байге и тризне быть,
но сделать главным призом Бок-Муруна,
к нему же шубы, рабов, верблюдов и лошадок с сукном
приставить.
Народ ногайский, густой как ночь,
и гордый как рассвет,
ответил: «Нет!»
Но Бок-Мурун поднялся и сказал:
«Я тризны названого мне отца войною не испорчу,
согласен я, так выводите на байгу коней!»
Все встали.
Сидеть остался лишь Якубов сын Манас,
сидеть в седле своем,
под небо вознесенный хребтом Желто-саврасого,
он не сходил с коня, приехав.
Он сказал:
«Эй, алпы! Я здесь и я разгневан.
О моем гневе вам рассказал бы тот глашатай,
угрозы расточавший,
жаль, нет его,
я сгоряча продал его купцам Кашмира.
Но кто бы здесь из вас собрался,
коль не услышал бы дерзких слов?
Сюда вас гнев привлек.
Гнев на кого? На крохотного хана,
найденыша, что назван Бок-Муруном.
Но в семь свои лета он занят делом:
умножил скот, засеял поле, соль собрал.
Сюда к верховьям Енисея и Оби привел народ ногайский.
Есть среди вас такой?
Ты, Ер-Косай, отец народа,
лишь в семь оставил грудь кормилицы своей.
Быть может, ты, Мунку, по прозвищу Урбэ?
Ты в семь свои лишь встал на ноги,
правда, продавливая ими землю на локоть вглубь.
Тогда, возможно, баба-великан,
но Урунха-хатун тогда игралась куклами,
отлитыми из чугуна, но куклами.

Никто.
Оставьте малыша в покое.
Он ханом был и ханом будет,
а возмужавши, и батыром-алпом,
и равен силой будет
Не мне, но вам»,
и прочее и далее...

Как ни печально, но сегодня ваш покорный слуга, лихой кавалерист, человек, как говорил о себе китайский рыбак-пьянчужка, «повидавший свет» и уже почти готовый стать романистом, сочетается браком с милой особой. Так что, прости меня, мой несостоявшийся читатель, не до сочинительства.

Шампанского!

АНТИСЮЖЕТ

О жизни

Заилийским краем при первом знакомстве русские назвали длинную полосу земли, лежащую между рекой Или и снежным хребтом Кунгей-Алатау, слегка расширяющуюся к западу. Полоса эта имеет большой склон к северу и прорыта множеством рек, сбегающих с гор Алатау, и все они без исключения впадают в Или — одну из самых больших рек в Киргиз-кайсацкой степи.

Весенний разлив Или бывает не ранее марта, а к осени она так мельчает, что образует броды, удобные для прогона скота. Один из них замечателен историческим проходом бежавших из России калмыков, через второй идет караванный путь из Ташкента в Кульджу и на Семипалатинск, названный Джанай-жол.

С октября по всему протяжению Или останавливаются на зимовку казахские роды, занимающие оба берега, начиная от китайских пикетов до русского укрепления при устье Талгара. Ниже в песках и саксаулах зимой пасутся их лошадиные табуны. При сходе снегов с подножья Алатау казахи выступают и на эти урочища, где начинают пахать пашни.

Пахотные места казахов лежат в десяти верстах от гор, где берега речек не так круты и позволяют им удобно выводить воду арыками на свои пашни. Урожай здесь бывает еще

обильней, чем на Копале, яблоки здешние даже в диком состоянии мало уступают садовым кульджинским как на вкус, так и величиной своей.

Зима 1853 года, первая зима, проведенная русским отрядом за Или, была самая жестокая, какой не припомнят казахские старики. Это дает повод кайсакам очень оригинально думать, что русские так сроднились с зимой, что не могут с ней расстаться и таскают ее с собой, куда ни придут. По крайней мере они говорят, что со времени основания казаками крепости Копал там зимы стали холоднее и снега глубже.

Заилийский край занят двумя главными родами Большой орды: албанами и дулатами с частью чапраштов, никогда отсюда не отходивших. Дулатовские казахи превосходят все другие роды этого жуза как своей многочисленностью, так и воинственностью и богатством.

Древние насыпи и курганы в Заилийском крае свидетельствуют о древнем присутствии многих народов. Уйсуни, уйгуры, джунгары сменяли друг друга. Последние были завоеваны китайцами в 1755 году, и все их земли Китайская империя взяла в свои пределы. Хан Аблай тут же двинулся на восток и после продолжительной, но удачной борьбы вытеснил китайцев за Малый Алатау, и казахи вновь заняли свои исконные места.

С 1824 года эта область считалась уже под покровительством России, но мандарины не переставали посылать в Заилийский край свои отряды для сбора ничтожнейшей дани. В 1840 г. они потерпели еще одно горестное и плачевное поражение от здешних казахов при урочище Тирен-Узек.

В это же время с юго-запада с еще большим корыстолюбием беспокоили Большую орду ее единоверцы — кокандцы, собиравшие с нее зякат. По всему видно, что это обременяло казахов и кокандцам нелегко было принудить ордынцев к добровольному платежу подати. Одним из первых стал разрушать кокандские замки султан Рустем. А Тойчубеково укрепление, восстановленное в новейшее время для сбора все того же зяката, опять разрушил казачий полковник Карбышев. Сидевшие в нем 50 сартов вместо охраны сами занимались грабежами караванов. Теперь можно надеяться, что страна эта, через которую идут важнейшие пути в Кульджу, Кашгар и к горным киргизам, в скором времени свободно зацветет своею торговлей и богатством.

Только от еще занятой кокандцами крепости Аулие-Ата продолжался сбор зяката, но уже отрядами и только у реки Чу.

О возможных новых военных действиях против Кокандского ханства, теперь уже со стороны Заилийского края, говорили давно. Впрочем, малая война между казахами Большой орды и войсками кокандского хана шла уже давно с переменным успехом. Но особенно об этой проблеме заговорили после того, как известные батыры Сураичи и Супатай захватили в плен пишпекского коменданта Алишера-датха, естественно, подданного хана, и передали его русским. Теперь он сидит в Омске и утверждает, что он со спутниками как раз-таки ехал к русскому царю посланником, а казахи устроили над ним произвол. Быть может, это и так, однако в любом случае лучше было бы прежде начала похода отпустить Алишера и его спутников домой, не обращая на них особенного внимания. Это имело бы больше нравственного значения, чем речи, которые он выслушивает в Омске.

Кокандцы были все убеждены, что этот комендант будет отправлен скоро в Пишпек на том основании, что под Ак-Мечетью все их пленные выпускались очень быстро. Им казалось, что русским нечего держать Алишера или другого какого-нибудь среднеазиатца долго у себя.

Для кокандцев личность Алишера только фигура, и если бы он совершенно погиб, то и тогда это не явится для них большой потерей. Между тем великодушное сознание нашего превосходства нравственно подействовало бы гораздо благодетельнее на кокандцев и киргизов, чем наш страх выпустить Алишера-датху.

Очевидно, что кокандцы и в Пишпеке и в Аулие-Ате ждали русских, идущих взять эти крепости, якобы числом в 5 тысяч человек. Народная молва в Кокандии представляла всех наших воинов в сажень ростом и одела их в непроницаемые для пуль латы. Здесь всякое обыкновенное происшествие принимает фантастический характер, количественно увеличиваясь в прогрессии, равносильной действию сильнейшего микроскопа.

Войско это должно было идти под начальством старого вождя с одним глазом на лбу. «Кто это мог быть?»— думали тогда все.

Последний вопрос я задал генерал-губернатору Западной Сибири Дюгамелю, когда по его просьбе составил для него небольшой обзор о современном состоянии Кокандского ханства и его границах. Он неохотно отвечал: полковник Чернов из Санкт-Петербурга.

Так вот кому предстояло после султана Рустема и полковника Карбышева оторвать еще один кусок от пирога кокандского хана в нашу пользу.

Дюгамель так же довел до меня, что этот Чернов уже просил его поговорить и со мной о моем участии в его миссии. В отличие от своего простецкого казачьего коллеги, Чернов сделал все, чтобы в его походе участвовало не меньше знаменитостей, нежели у Наполеона в его Египетской войне (ну не могут наши доморощенные покорители Востока не схлестнуться со славою героев прошедших времен!) Впрочем, тогда я думал, что зря так злословлю, Чернов казался человеком хорошим, и на неизведанный Восток действительно неплохо было бы взглянуть глазом и художника, и археолога. И положение мое было такое, что мне не приходилось особенно выбирать, и я выехал к месту дислокации черновских пехотных частей и казахской вооруженной милиции 25 марта 1864 года, хотя еще неделю назад думал ехать в Петербург, куда уже об этом написал друзьям.

Зиму я прожил в Омске, здоровье мое поправлялось неровно, однако вел я себя не совсем хорошо: играл в карты, таскался по клубам и шампанское стал пить. В четыре месяца проиграл около трех тысяч и бросил лишь оттого, что денег нет, а просить у отца было совестно. И вот тогда как проштрафившийся офицеришка и поехал от отчаянья на войну пожинать победоносные лавры, а если честнее — за чином. Ехал с надеждой оттуда через Ак-Мечеть проскочить на Оренбург, а потом уже, несмотря ни на что, в Петербург!

Смущало только одно: в верных подданных кокандского хана ходило и немало киргиз-кайсацких родов и, говорили: неудовольствия между зачуйскими и илийскими казахами начались, и все сношения разорваны, особенно после пленения дулатовцами и чапрашты того самого Алишера.

Коканд разделяется на несколько наместничеств, или военных округов. Правители этих округов — хакимы, бывают вместе с тем и главными начальниками военных сил, расположенных на границах их ведомств, и получают свои места в аренду. Доходы они получают бесконтрольно и сами довольствуют свои войска жалованием и фуражом. Хану отправляют ежегодно известную часть от доходов и дары от своей личности.

Племена казахов кочуют в наместничестве Ташкентском, среди них и рода Средней орды под предводительством сыновей мятежного султана Кенесары, моего, между прочим, дядюшки.

Вообще тамошних кайсаков-казахов и каракиргизов-бурутов можно разделить на совершенно подданных Коканда и непризнающих его власть.

Если таджики и другие оседлые народы Кокандского

ханства по преимуществу занимались торговлей, ремеслами и хлебопашеством, то кочевники были воинами и, следовательно, составляли самостоятельный элемент в ханстве. Особенно сильно было казахское племя кипчак, оно узурпировало и самые важные государственные должности, чем вызвало к себе ненависть со стороны всех остальных народов. Наконец, воспользовавшись несогласием в стане кипчакских старших офицеров, хан Худояр в начале 1853 года с войском в 60 тысяч сабель между реками Нарын и Сыр разбил кипчакский военный корпус, и его остатки по его указу убивались везде, где только показывались.

Освободившись от влияния кипчаков, этот хан первым и принялся разваливать Кокандское ханство, безумно увлекшись забавами и мистицизмом. Во дворце своем он задумал читать лекции о праве и об обрядах, а в походах запрещал своим воинам курить опий, сгоняя их всех вместе на каждую молитву. Везде он устраивал арены для боя животных (собаки, свирепые самцы верблюдов, куропатки воспитывались в его дворцовом зверинце, а любимых злых кобелей он выписывал даже из Китая). Делами государства управляли дворцовые чиновники, а у самого хана Худояра появилась новая страсть к браку. Какой-то мулла сказал ему, что совершить тысячу браков дело не менее важное, чем покорить страну, где были бы все семь климатов. И он немедленно приступил к сему «великому» делу, за весьма короткое время женившись на 80 девственницах.

Стоит ли удивляться, что хан таким своим беспечным поведением стал навлекать на себя народное неудовлетворение. Но меня интересовало больше отношение к нему со стороны моего народа, а оно становилось с каждым годом все более нетерпимым.

Один только Ташкентский правитель, молодой человек, служивший когда-то доверенным у богатого купца и сделавший карьеру исключительно благодаря своей красивой наружности, предпринял два вторжения в наши границы: одно на правый фланг, на реку Сарысу, а другое со стороны Пишпека на Большую орду в Заилийский край. Он окружил себя великолепием, которое превосходило двор самого хана, и для его поддержки он наложил на кочевые племена чрезмерно обременительные налоги.

В 1858 году, когда этот красавчик повесил нескольких почтенных биев Большой и Средней орд, казахи отказались ему повиноваться и с оружием подступили к Аулие-Ате, Чимкенту и другим городам. Посредником между кокандским ханом и восставшими казахскими султанами и

батырами стал тогда известный минбаши Малибек. Посол хана удовлетворил ультимативные требования кочевников, и тот правитель Ташкента был смещен со своей должности, но вместо суда получил от своего хана новое высокое назначение. Это окончательно возмутило всех, прежде всего Малибека.

Малибек отрекся от Худояр-хана и, обратившись за деньгами к купцам Маргелана, а за воинами все к тем же кипчакам, лихо сверг хана, так много сил отдавшего девственницам своего государства, и сам сел ханом в Коканде.

Первое время своего царствования Мали-хан ознаменовал усердной деятельностью и справедливостью. Он даже оплатил личные долги Худояра, а взятые ханом-сластолюбцем вещи из казны, вернулись обратно в дворцовские сундуки. Однако в нем сохранилась, между всем хорошим, одна поразительная сторона, заимствованная им, как кажется, у бухарского эмира — это коварство и двуличность. Он силился поддерживать миролюбивое отношение с соседями, но ни Россия, ни Бухара, ни Минский двор ему уже не верили.

Прибыв в расположение войск, я сразу, к великому своему неудовольствию, был введен Черновым в его блестящую свиту из ученых и литераторов. Позже, признаюсь, несколько успокоился, ближе познакомившись с теми, кто был призван освещать этот не имевший аналогов в мире «величайший» поход. Это оказались действительно люди умные и не лишенные талантов. Чего стоил хотя бы один тобольский художник Наменский, сотрудник газеты «Искра», знавший и моего отца (Михаил Степанович организовывал выставку казахских предметов в Санкт-Петербурге при каком-то конгрессе, а отец мой в чем-то содействовал ему)!

Этот Наменский, доставил, пожалуй, мне больше всех хлопот своей неуемной любознательностью. Ему мало бы срисовывать каждое чуть заметное строение или всякий приятный пейзаж, так он при этом обязательно умудрялся оказаться рядом со мной и непременно приставал с вопросами, прескверными уже от того, что заставляли непременно задуматься.

А надо сказать, что тогда мне было совсем не до бесед.

С некоторого времени я стал пренеприятно осознавать, что лодка, в которую я чуть ли не с колыбели был пересажен, плывет помимо моей воли и желания. Я не заметно для себя потерял весла из-за, ну, скажем, подчиненности армейскому племени или из-за принадлежности к избранному сословию, да мало ли! Ничего катастрофического в этом нет, плывя в русле, я и без руля и парусов стану генералом или самым

наиглавнейшим султаном (имею в виду административный чин), но вот так и плыть меж двух берегов с невозможностью причалить хотя бы к одному краю, признаюсь, просто тошно, да и скучно. Вялость тела и апатия мыслей стали моими спутниками. Желания не было ни говорить, ни писать, ни знакомиться еще с кем-то или с чем-то.

У подошвы Александровского хребта в самом начале военного продвижения солдаты начали закладывать первое Зачуйское укрепление, что очень удивило казахских милиционеров. Они группировались подальше от лагерей и бурно толковали между собой об этом, восклицая недоуменно: «Орыс!»

— Кажется, поминают нас,— начинал Михаил Степанович с интересом, который невозможно было игнорировать,— я отдал бы сейчас левое ухо, лишь бы узнать, о чем они так взволнованно шепчутся, султан?!

— Так...— отвечал я.— Пытаются постигнуть психологию дружественного им народа.

— Вот вам мое и правое ухо, режьте, но скажите! Я, оглядывая некогда сказочную землю этих давно обжитых человеком мест, сам впал в недоумение:

— Тут были сады. Все вырубили, даже пенька не осталось.

— Да, только трава с красным маком и незабудками — пейзаж уже приевшийся... Но все же, султан, о чем говорят ваши кайсаки?

Я отвечал неохотно, разглядывая остатки глинобитого Токмака и полуразрушенную башню, у которой там и сям валялись влажные лоскуты войлока да расколотая деревянная посуда:

— Они не понимают, любезный Михаил Степанович, почему русские два года ходили по этим местам и только разоряли городки, а теперь сами строят.

— Вот как! Я не знал... Можно было бы и не ломать.

— И я не знал, что еще более интересней, любезный Михаил Степанович.

Выехавший из узких Токмакских ворот штаб-офицер Добров приблизился к нам и невесело озирался вокруг. Не удовлетворенный моим ответом, художник громко обратился и к нему:

— Скажите, пожалуйста, что за цель была разрушать Токмак и вырубать сады?

— Та же самая, что и в теперешнем походе,— ответил тот, ловко перескакивая на своем высоком скакуне через

разделявший нас Токмакский крепостной узенький ров.— Но не это должно занимать наши умы, господа,— загадочно дабавил штабной офицер.

— А что?— непреминул тут же спросить жадный дс всего и бывшего и предстоящего Наменский.

Добров подтянул уздечку, заставив своего коня, пританцовывая, остановиться. Затем, предложив нам свой портсигар и прикурив папиросу, принялся весело размышлять:

— Меня, признаться, больше беспокоит развившаяся у всех нас воинственность, наверное, после надоевшей всем долговременной стоянки. И прежде всего у нашего бравого полковника. Минуты, господа, не пройдет, как он хватается за зрительную трубу и, кажется, уже сейчас готов скомандовать: «Всем орудиям, пли!» Вы взгляните, господа, на вон ту старуху.

У первых скошенных ворот виднелась сухая фигура слепой старухи. Клочки ее седых волос да белая тряпица на голове отделялись от темной стены, прочее же — ее полунагое тело и разодранное рубище — было одного цвета с бронзовой стеной.

— Всякий, понимающий киргизский язык, узнает от нее, что четыря дня назад все жители Токмака, узнав, что идут русские, убежали в Аулие-Ата, бросив и свои стены и все на произвол судьбы. Вот вам и вся война с Кокандом! Вот вам и «все орудия: пли!» Но боюсь, что это «пли!» непременно состоится!— закончил свой монолог Добров, вызвав к себе своими весьма и весьма неглупыми, но черными размышлениями симпатию.

Я предложил вернуться в лагерь, но любопытный художник стал настаивать на продолжении поездки:

— Вы были там, в крепости, господин Добров? Скажите же султану, что на это очень увлекательно взглянуть... Я зову, а он никак не желает.

Штаб-офицер отбросил в сторону докуренную папиросу и хмуро проговорил:

— Вам не достаточно зрелища циновок и арбы со сломанным колесом, брошенных бежавшими от грядущих цивилизаторов жителями этого райского уголка? Что ж, рекомендую проехать и в саму крепость. Вы увидите там несколько живописных трупов.

— Кто же их убил, этих несчастных?— возмутился художник, хотя видно было по его лицу, что он готов поехать и посмотреть, скажем, для впечатлений и композиции будущего полотна «Взятие Токмака».

— Не скажу,— еще более тоскливей произнес Доб-

ров.— Были ли это больные, брошенные в поспешном бегстве и умершие от голода, или убитые — неизвестно. У одного нет головы, у другого объедена рука, в третьем копошатся черви. Однако скоро обед, господа. Так что лучше подобные вещи не рассматривать, чтобы не портить аппетита.

И мы двинулись мимо городских ворот, у которых начальством было поставлено два казака в предупреждении расхищения жалких остатков, какие еще могли иметься в городке. При нашем приближении они сочли долгом лениво крикнуть вниз на солдат и казаков, забравших остовы чьей-то юрты на дрова:

— Не трогайте, ребята, не приказано.

Ребята посмотрели на них и потопали со своей ношей дальше восвояси.

У этих ворот на маленькой платформе, словно на пьедестале, сидел тоже брошенный на произвол судьбы сухонький мальчик с большими черными глазами. Он мельком взглянул на нас и снова принялся с жадностью за сухари, данные ему солдатами. Солдаты, уроженцы коренных русских губернь, как мне говорили, считают долгом принимать на свое попечение подобных подкидышей, и на привалах иной раз лишают себя последней котомки, чтобы уложить бедняг помягче.

Если это так, то они очень мало в этом случае походят на наших казаков.

— Аман,— крикнул ему Наменский.

— Аман, аман,— весело заговорил тот в ответ на здравствуй,— и, колотя себя по голому пузу, заулыбался.

От края его покривившегося рта потекла густая слюна с хлебным крошевом.

Штаб-офицер, предпочитая больше поглядывать на белевшие вдали горы, сказал, теперь совсем уж уныло:

— Мальчуган — идиот. Плетется за нами третий день,— и замолк, притрагиваясь пальцами к своему виску.

Видно, его, как и меня, мучила головная боль. Поторопив своих лошадок, мы, никуда не сворачивая, поехали в лагерь, чтобы утолить свой жар горячим чаем. В дороге Наменский, чувствуя вину за свое любопытство, ввергнувшее всех нас, как ему теперь казалось, в мрачные мысли, попытался отвлечь нас от них:

— А мне муфтий рассказывал о той башне прелюбопытную легенду! Давным-давно тут был город...

— Верно, был, однако, не очень-то давно,— заметил Добров все так же кисло.

— Однако, господа, послушайте! И жил тут манап, а у него родилась дочь-красавица, ну он и спросил у ученых мужей, что с ней будет? Те сказали, что умрет она от каракурта. Ну, манап и велел построить высокую башню и устроил там жить свою дочь. Все обязаны были строго следить, чтобы она, не дай бог, не сошла с башни на землю. Только не помогло это. Принесли ей раз плодов, да недосмотрели, а там был каракурт, укусил ее, и она умерла.

— Вашу легенду, любезный Михаил Степанович,— решил я подразнить художника,— следует понимать аллегорически. Отец-манап засадил в башню свою дочь, опасаясь за ее девство. И, видимо, на это были причины. Соблазнитель же, выведенный в облике мерзкого паука, не отступился. Заметьте, что он притаился в блюде с фруктами, символизирующими соблазн, сладость и сладострастие. Вам непременно, любезный Михаил Степанович, надо после завершения работы над полотном «Взятие Токмака» написать картину «Дева в объятьях каракурта».

— Что вы такое говорите, султан?— надулся прямодушный Наменский.— Это, однако, обидно.

— Нисколько, любезный Михаил Степанович.

Копившееся весь день во мне раздражение от всех этих героических эпизодов нашего «великого» похода искало выход, и ничего с собою я сделать не мог.

— А каракурта непременно нарисуйте с черными кавалерийскими усами... в этаком сатирическом духе,— и добавил совершенно серьезно.— Если этот поход изображать, то уж только сатирическим пером.

Последние мои слова нисколько не несли в своем тоне извинительного характера перед художником, любившим приключения, и меньше всех, пожалуй, виноватого во всем происходящем вокруг, однако, к счастью, они оказали и такой эффект.

— Совершенно верно!— воскликнул, снова воодушевляясь, Наменский.— Именно сатирой надо все это изобразить! Это же преступно!

Подъезжая к лагерю, можно увидеть подле него местечко, представляющее собой некогда садик, обнесенный глиняной стеной. Теперь тут желтеют только два деревца, остальные вырублены еще в прошлом году для поправки крепости, разрушенной одним из отрядов войск Его Императорского Величества. Там стоит полотняная палатка, прикрывающая холмистую насыпь. Это могила знаменитого батыра Джан-Карача, дожидающаяся, когда над ней возведут каменный могильник.

Джигиты из милиции спешились здесь и совершают молитву. Но не праху батыра, а двум этим чахлым деревцам, увешенным белыми тряпочками. Ведь по древним преданиям в этом садике сидел, отдыхал и стриг себе ногти святой Аулие-Ата.

Как все просто и в то же время возвышенно и мудро: люди остановили бег своих коней и совершают молитву там, где сводом мечети им служит небо, а стенами — горы. Разве не стоит совершенно искренне позавидовать им? Не мне удостоившемуся быть признанным «образованным по-европейски вполне», а этим кочевникам известна реальная гармония жизни. Только они еще способны верить неписаным заповедям религии сердца. Потому что живут на родной земле и не мыслят жизни вне ее, а значит, любовь к ней и есть их вера. Вот тогда все неразрывно: Бог и человек, истина и дело, совесть и поступки.

Мне кажется, самым страшным итогом жизни человеческой является открытие того, что именно с тебя началось иссушение религии сердца.

Мы подъехали к палаткам и увидели солдат и певчих, собравшихся вместе. Полковой поп в своем казинетовом полукафтане и серенькой шляпе все осведомлялся, не проснулся ли наконец полковник.

— Хочется отцу духовному сегодня молебен отслужить,— заметил штаб-офицер Добров, снова закуривая свою папиросу.— Очень кстати,— добавил он неизвестно зачем.

25 мая мы вышли к Мерке, к первой не разрушенной крепости на нашем пути к Аулие-Ата.

Наменский поспешил сравнить Мерке со средневековым феодальным замком. Зубчатые стены, угловые башни действительно напоминали нечто подобное, но все мы прекрасно знали, что собою представляют эти глинобитные строения, возведенные чуть ли не во времена Чингисхана. Хорошему молодцу раз упереться плечом в эти стены, и останется разве что столб пыли.

С утра мы в зеленом шатре ожидаем начала исторического военного совета. Штабные разместились около длинного стола на чем бог послал: ранее пришедшие сидят не складных стульях, опоздавшие садятся или на бочонок или на пустой ящик с надписью «киевское варенье». Полковника все нет. Гораздо раньше пришел даже известный своей любовью поспать Наменский. Он устроился подле меня и принялся меня же укорять на правах давнего приятеля моего отца:

— Вы мою персону совсем избегаете, господин хороший. Это не по-товарищески. Вы обещали зайти за мной.

— Помилуйте, Михаил Степанович, вам, художнику, совсем не будет интересно здесь. Впрочем, я заходил за вами. Но ваш денщик Алексей Федорович, как вы его изволите величать, наотрез отказался будить вас. «Извольте, говорит, будить сами, я не могу, как же я буду будить, ведь они благородные». Я изумляюсь. «Братец, говорю, а разве благородных не будят?»

— И что же вы?

— Он так был непоколебим в своем убеждении, что я и сам, признаюсь, засомневался: можно ли будить благородных? И не рискнул.

Наменский рассмеялся, однако укоряющего тона не оставил.

— Я был уверен, что вы отговоритесь, султан. Человек вы не злой, но ужасно хотите казаться таким. Как все же вы разнитесь с батюшкой своим — верно он говорит, вас, султан, свет испортил,— и смутился.— Впрочем, извините, я совсем не о том хотел говорить.

Офицеры и господа писатели за столом, нисколько не обратив внимания на вошедшего художника, беседовали о своем, и речь их из повествовательной перешла скоро в полемическую.

— Это слово не русское, прежде оно не употреблялось и теперь не употребляется в языке,— слышалось с одного конца.

— Господи! Опять что-то новое,— произносится с другого.— Право, и в университет ходить не стоит, за один поход энциклопедистом будешь.

— А употребляют ли это слово московские просвирни?— прорезывает общий хаос третий голос из центра.— Они утверждают, что только от них можно услышать чистую речь...

Художник снова склонился ко мне и отвлек мое внимание от общего разговора:

— Я к вам собственно с вопросом... Вчера на марше я свернул в сторону за версту... помните, день оделся в какую-то мрачную одежду, солнца нет, по небу быстро летят клочья серых туч, и тянувшийся наш огромный отряд с пушками, верблюдами и волами казался очень грозным... Я теперь понимаю, почему местные жители так отчаянно бегут от нас, лишь завидев издалека...

Мне еще нужно было просмотреть пришедшие с вечера штабные бумаги, и я прервал праздного художника:

— Так в чем же состоит ваш вопрос, любезный Михаил Степанович?

— Я и говорю, отъехал я посмотреть на одиноко торчавшее священное дерево, все увешенное мелкими подношениями, но по дороге одна муллушка заставила меня остановиться и срисовать ее.

— Извините, Михаил Степанович,— снова перебил я его.— Что заставило вас остановиться?

Наменский тоже не понял меня, призадумался, а потом, сообразив, еще азартнее продолжил:

— Ах, да... Муллушка — это здешний могильный склеп.

— Мола,— поправил я, зная что это по давнему опыту без толку подправлять.

— Конечно, мола. Она походила на небольшую церковь с легким куполом, с разными украшениями над дверьми и ярким фантастически изящным орнаментом изнутри. Войти в такую муллушку в жаркий день — истинная отрада. Так вот, в ней я встретил под куполом ряд нарисованных человеческих фигур, сражающихся между собой пиками. Затем шли караваны зеленых верблюдов и даже женщины, подносящие кумыс наездникам. Рисунок первобытный, что-то среднее между рисованием ребенка и нашими суздальскими росписями. Каким это образом попали в муллушку изображения людей, когда у мусульман это строго запрещено?

— Ну киргизы только слова, что мусульмане, даже я их мусульманее,— отвечал я ему легко на вопрос, на который давно сам искал и не находил более-менее правильную гипотезу.

Наменский задумался над моим ответом, запутанным в достаточной степени, чтобы серьезный человек мог над ним поразмышлять от души, а отвечавший мог бежать от него. Но куда бежать?!

Общий спор и шум позатих и оказалось, что ученая свита нового завоевателя Востока говорила о слове «барымта».

— А вот мы спросим у султана. Господин штаб-ротмистр,— раздался крик,— а каково ваше мнение о происхождении слова «барымта»?

Все взоры обратились на меня и пришлось отвечать, снова прикинувшись всезнающим мужем, да не привыкать, коли всем так этого хочется.

— Само слово «барымта», я думаю, чуждо великорусскому языку хотя бы потому, что это явление чисто киргиз-кайсацкое и допускается только нашими казахскими законами. Это не более как угон скота у провинившегося, не желающего каяться хозяину. Значит восстановление правосудия самовольными действиями. Но можно предположить, что у слов «барымта» и «барышничать» один корень «бар», что переводится как «есть, взято». Не исключена и связь между «барышом» и «борышом» — долгом.

И снова поднялся хаос голосов. Ласточки из встревоженной крепости, нашедшие с ночи штабной шатер вполне удобным для себя и начавшие было лепить свои новые гнезда на его подпорках, испуганно разлетелись в разные стороны.

— Нет, как вам, господа, это правосудие самовольными действиями! Да творящих такое правосудие нагайками надо сечь и розгами следует драть!— раздавалось с одной стороны.

— Разумеется, против этого взгляда на вещи спорить нельзя, оно существует у многих еще, вот, например, у плантаторов. Но я должен заметить, что у кайсаков телесного наказания не существует и не существовало,— неслось с другой.

— Ну, вот вещь! Это новость!

Ласточки попытались возвратиться, но хор стал таким громким, что они совершили облет над нашими фуражками и исчезли совсем.

— А если теперь существует в степи культ нагайки,— продолжал новый оратор, выдержав очередной залп голосом противников,— то он внесен цивилизаторами русскими.

— Ну да, сказать вы можете, докажите!

— А в доказательство я вам укажу на приказ областного губернатора — генерала Клейста. В нем меж всяких проектов об улучшении быта кайсаков есть и о нагайках.

Здесь ко мне вновь склонился художник и тихо, дрогнувшим голосом проговорил:

— Вы помните, султан, того мальчишку-идиота? У Токмакской башни? Он шел за войсками, и солдатики его подкармливали, а вот казаки на своем мудром совете решили, что он только притворяется дурачком, а на самом деле лазутчик какой-то, и пришибли.

В эту минуту в штаб явился и наш главнокомандующий — полковник Чернов. Разговоры разом закончились, но

многие были еще так разгорячены, что еще некоторое время с величайшим недоумением молча взирал на человека с полным на то правом прошедшего между ними с видом римского консула и неприступно вставшего у торца стола.

Чернов, нисколько не смущаясь тем, что битый час заставил стольких людей ждать себя, как истинный полководец склонился над расстеленной на столе картой и сурово проговорил:

— Доложите дислокацию противника, господин штаб-ротмистр.

К карте подошел хорошо знакомый уже мне Добров и браво доложил:

— В крепости Аулие-Ата по последним сведениям 1000 человек гарнизона, сколько киргиз-кайсацких джигитов — неизвестно, вооружены кто чем, у коменданта только 30 ружей, две пушки, по словам лазутчика,— штаб-офицер показал руками величину в аршин,— одна треснувшая, горохом не выстрелишь.

Чернов нахмурился то ли от грозного числа кокандцев, то ли от последней фразы господина Доброва. Возможно, последовал бы выговор, но тут в разговор на совсем непринужденной и товарищеской ноте вступил зоолог и горный офицер Северов:

— Между прочим, господа, жители Аулие-Ата уверены, что царь русский брать Аулие-Ата не позволит, точно так же как и Туркестан. Придут-де русские, как в прошлом году, посмотрят и уйдут. Действия они наши считают совершенно противоправными и послали посольство с жалобой к оренбургскому генерал-губернатору.

Полковник сердито взглянул на Северова и недовольно спросил:

— Откуда это вам известно? Что за чушь!

— Как откуда? Об этом толкует каждый встречный киргиз.

Наступило молчание.

Удивительные метаморфозы случаются с людьми. В самом начале экспедиции Чернов представился мне человеком отменных для полковника качеств. Был в меру строг, однако не был лишен и либеральных черт, по крайней мере позволял собеседнику высказываться на любой предмет и в любом ключе. Любил порассуждать на философские темы и подчеркивал, что наша миссия — это прежде всего братская помощь страдающим народам. Теперь же он выглядел просто самодовольным воякой и, кажется, гордился этим. Бед-

няга, видно, и он заразился скоропалительной болезнью, имя которой «завоевательство», а симптомы ее, как известно, весьма дурны.

Чернов откинулся от стола, прогнулся спиной и,— бог мой!— заложил совсем по-наполеоновски руку за отворот кителя.

— Штаб-ротмистр,— обратился он ко мне, всем видом показывая, что замечание о каких-то попытках аулие-атинцев закончить дело миром его совершенно не касается.— Вы разобрались с письмами?

Я, особо не выбирая из пришедших бумаг, прочитал одну — письмо манапов дикокаменных киргиз:

— Услышали мы, что идут русские, и просим принять себя в подданство царя белого, желаем всю жизнь есть соль царскую. Мы прежде были подданными хана и ели его соль, но власть хана ослабела, просим охранять наши пашни от потравы. Пашни-де царские и скот наш — скот царский. Если мы будем хорошими подданными, то жалуйте нас, а коли худыми, то наказывайте.

— Знаю я этих пройдох!— воскликнул грозно Чернов.— Ни им, ни кавказцам веры нет. Только стремительное наступление укрепит наше положение в этом крае.

— И все же,— возразил я,— вся наша политика на мусульманском Востоке до сих пор держалась на добровольных начинаниях. В российское подданство киргиз-кайсацкие и каракиргизские рода и ханства вступили путем мирных договоров, и за какие-то полвека без единого выстрела мы установили новые границы чуть ли не на Памире.

Чернов, словно возжелав немедля сам удостовериться в наличии границ на Памире, схватился за свою смотровую трубу, однако, к нашему удивлению, принялся использовать сей тонкий оптический прибор противно его прямому назначению.

— Полвека!— вскричал он, размахивая трубой, как дубинкой.— Как легко вы, штаб-ротмистр, распоряжаетесь временем!

— Так же легко, как вы, господин полковник, намерены распорядиться судьбами целых народов.

Наш Наполеон побагровел лицом и, кажется, надумал замахнуться и на меня своей трубой.

— Вам следовало бы подумать...

— Что я и делаю, но, кажется, один.

Чернов смог и на этот раз сдержаться и, оглянувшись на внимательно следивших за нашей дискуссией офицеров,

ученых и художников, симпатии которых явно были на моей стороне по многим на то причинам, как человек не глупый, успокоил в руке смотровую трубу и смягчил тон:

— Мы в походе, а в бою часто не до взаимных упреков, дорогой штаб-ротмистр...

— Господи, какой ещё бой? — со смешком на устах воскликнул наш любезный Михаил Степанович.

В эту минуту раздались орудийные залпы. Я со всеми офицерами вскочил и с недоумением огляделся. Быть того не могло, чтобы кокандцы вдруг так близко могли подойти к нашему лагерю, да и не было у них никакой полевой артиллерии. Лишь один Чернов сохранил спокойствие и на случившуюся между нами тревогу ответил отеческой улыбкой, снисходительно промолвив:

— Успокойтесь, господа. Это наши пушки.

— Как наши?— с еще большим изумлением проговорил Добров, в штабные обязанности которого вменялся и ход полковых орудий.

Полковник взял свою зрительную трубу и направился к выходу палатки, на ходу бросив:

— Я приказал дать несколько залпов по крепости.

Не помню кто, кажется, Северов, застонал, словно орудийный снаряд разорвался у него где-то под ребрами, и сказал:

— Господи! Да вы с ума сошли! В этой глиняной дыре Мерке, кроме пастухов и коменданта с его гаремом, никого нет. И комендант сбежал бы, да боится, как бы ему хан за это голову не отрубил, только на наш плен и надеется, бедняга!

Полковник на лице обратил свой взор на зоолога, видимо надеясь его перетащить к своему богу гораздо быстрее:

— Господин Северов, ваше дело — наука, наше — ратное и поверьте...— вкрадчиво заговорил он.

Но Северов и не подумал поклоняться Марсу и возмутился еще более:

— Я, признаться, поражен вашими действиями, господин полковник, и думаю, простая логика не менее важна в военном деле, чем в науке. Штаб-ротмистр зачитал нам письмо манапов, а таких посланий достаточно. Следовательно, если племена дикокаменных киргиз и другие народы придут к нам добровольно и у нас хватит минимального терпения спокойно дождаться этого, то надо думать, и ко-

кандский хан, лишившись своих подданных, действительно без единого выстрела с нашей стороны легко падет.

Северова поддержал писатель и этнограф Южин, и тогда полковник завопил...

Более всего на свете мне противны всякого рода скандалы, выяснения отношений, ажиотаж, когда люди не просто перестают понимать друг друга, но и слышать, что выкрикивают оппоненты.

На достаточно сдержанные упоминания Доброва и Наменского о Христе и его заветах, Чернов разразился такой бранью, что всех присутствующих взяла оторопь. Прежде всего он объявил всех нас, сибиряков, в интриганстве. Якобы мы с омским генерал-губернатором сговорились всячески вредить ему, в силу того, что Император доверил санкт-петербуржцу, а не нам миссию умиротворения Коканда, сиречь завоевания. И что он имеет свои инструкции на предмет как вести войну и нисколько не намерен подчиняться омским завистникам.

Нет, увольте описывать подобные сцены.

Единственное, что следует сказать, дабы не оборвалась линия повествования, мы немедля и на удивление дружно представили ему ультиматум: если он не откажется от таких варварских, в духе Кортеса методов приведения в подданство Империи народа, который сам желает такого исхода, то мы покинем его лагерь.

Чернов категорически отказался принять наши условия, впрочем, чему удивляться: человек поставил себе целью добыть под свой зад генерал-губернаторство, а как — это, видимо, было точно обговорено им со своими покровителями в Имперских министерствах. Уверен, что столичные сановитые чиновники считали, что России следует установить свои новые южные границы орудийными залпами, кулаком и страхом, чтобы разом продемонстрировать всяким бухарским эмирам да афганским шахам тщетность их любых возможных ответных шагов и заранее отбить у них охоту соваться сюда.

Мои товарищи, покинувшие в тот же день вместе со мной черновские войска, предлагали сразу ехать в Омск или в Петербург и немедля разоблачить новорожденного тирана, однако я отказался, предпочитая через день отделиться от них и направиться в знакомый мне Заилийский край.

Господа, что мне ваши столицы? Да, я был глуп, еще лишь день назад мечтая о Петербурге, но знаете ли вы, как

обильны заилийские реки османами, маринкой, а Талгар, кроме того,— судаками. В горах эти реки образуют красивые водопады и там плещется форель, а казахам до них и дела нет! Все твое.

К самой Или исчезают обильно растущие в предгорьях малина, барбарис и смородина, не растут абрикосовые деревья, зато среди простого тростника — чия, курая и камыша водятся тигры, рыси и изредка леопарды. Шкуры их казахи продают русским за 20 рублей серебром, так что как-нибудь обойдусь и без вашего жалованья, тем более, что я уже отчислен из Азиатского департамента. Я уже не говорю о возможностях охоты на архаров и красных лисиц и прочей мелочи вроде зайцев. А птиц там просто бесчисленное множество, лебеди и журавли проводят на Или зиму. Так неужели и я там не перезимую?

В ответ на это мои соратники по бунту сразу же обвинили меня в отступничестве, призывая к немедленной борьбе за правду, честь и справедливость. Сами они ни за что не отступят, а вот якобы мое отсутствие в их рядах скажется самым неблагоприятным образом. Я, видите ли, был обласкан Императором и имею связи в министерствах, а Чернова без санкт-петербургских чинов не сразишь.

О аллах, при чем здесь Чернов?

Господа, я не правнук великого хана, не адъютант генерал-губернатора, не герой кашгарской экспедиции и не деятель Военно-ученого комитета Генерального штаба, а о некоем членстве в Географическом обществе я уже не говорю.

Я тот мальчик-идиот, которого следует прирезать за то, что он непонятно как и неясно зачем существует и таскается там, где ему не положено.

Так что прощайте!

Уже в ауле Тезекова ко мне пришло письмо моего приятеля, в котором сообщалось, что из Петербурга приехала комиссия для расследования инцидента нашего неподчинения Чернову — теперь уже генералу — в его победоносном походе на Кокандское ханство. К ее приезду Чернов взял у некого манапа дикокаменных киргиз Сарымбека показания о том, что при походе на Аулие-Ату никак нельзя было обойтись без пушечной пальбы и якобы они, туземцы, сами нижайше просили генерала пару раз выстрелить из пушек по самым враждебным и по-другому не приступным крепостям их самых злых мучителей. И вообще, Чернов назывался освободителем и благодетелем всей дикокаменной орды.

Стоит ли удивляться тому, что этот безродный манап был вскоре назначен на вновь введенную в этих краях верховную должность старшего манапа.

В общем, славный мне свадебный подарок! А я к этому времени уже все же женился на сестре султана Тезекова.

В Дикокаменной орде аристократического элемента не существовало исторически, точно так же, как и централизации родового управления. Там каждый род управлялся своим бием. Случалось, правда, что некоторые манапы, сильные родовичами, успевали приобретать главенство, как Урман и Бурамбай. И хотя это было насилие, но люди эти имели несомненные достоинства, один храбрость, а другой — замечательный ум. Назначение же ничтожного и известного лживостью Сарымбека, этого дикокаменного Чернова, в звание ага-манапа, случайное явление возвело в постоянное достоинство. Это уже само по себе ошибка и ошибка политического толка. Пользы от такого ага-манапа мы положительно не имеем, и, поддерживая его назначение, мы вредим самим себе, отталкивая от себя народ, и вооружаем против себя других манапов.

Манапы Мурад-Али, Чон-Карач и прочие ушли не от нас, а от восторжествовавшего Сарымбека. Кроме того, Сарымбек постоянной ложью от имени русского правительства возбуждает недоверие в народе к нам. Этот господин продает русские чины в виде дипломов, купленных в свою очередь у своих губернских покровителей. Сверх того, ни один абсолютный восточный монарх не делает таких насилий, как он. У него содержится одна женщина под именем «подводной» бабы, если так можно выразиться: он ею угощает приезжих казаков и других лиц. Ее, как не дико, берут так же, как берут в подводы верблюдов и лошадей. Такова нравственность этого господина.

И представьте же себе, этот мелкий субъект явился в наш тезековский аул знакомиться со мной! Господи, ну за что же мне все это?! Конечно, я и не подумал его принять. Глядя на меня, отказал ему в гостеприимстве и султан Тезеков, хотя и был недоволен сложившейся ситуацией, что вполне понятно: ему жить в соседстве с этим новоявленным дикокаменным ага-манапом.

Вот кем закончилась та длинная череда лиц, с которой связала меня судьба. Меня в ней при этом нет. Как ни странно, но и так бывает.

Прожито тридцать лет, жизнь промелькнула как метеор.

Итог — я сильно болен: болит грудь и горло. На горло я мало обращаю внимание и лечусь прежде от болей в груди, но вот и горло разболелось так, что я едва могу глотать пищу, голос совершенно спал. Попасть в Верный, в крепостной госпиталь невозможно по причине отсутствия экипажа и трудности пути. Я отдал себя в руки киргизского врача — невежды, который поит неизвестно чем. Но все-таки это лучше, чем умирать сложа руки.

И все же, как ни скверны были мои обстоятельства, я несу свой крест, как Иисус, но только с ропотом.

Легче всего снять с себя офицерский мундир и вернуться в свое законное состояние инородца, несмотря на то, что в Сибире с инородцами делают что хотят, разве что собаками не травят. Но вот вопрос, как затем стянуть с себя шкуру манапа Сарымбека, наличие которой на наших благородных фигурах мы все, господа, с самым страшным негодованием отрицаем?

Как предстать перед людьми и Богом человеком свободным не только от всяких мундиров и шкур разной окраски? И если невозможно первозданным Адамом, чистеньким и изначально счастливым со своим фиговым листком, то просто человеком свободным.

Плакаться, между тем, особенно не стоит. Я всегда имею возможность вернуться в Омск, к тем же врачам, к слову. Только надо чуть-чуть покаяться, подать оправдательную бумагу и тут даже в чине повысят.

На берегах реки Кызыл в Кашгаре я видел пирамиду из человеческих голов. Местный тиран тщательно заботился о возвышении этого, достойного его, монумента: головы всех убитых китайцев и мусульман отправлялись к пирамиде. Многие значительные лица сделались жертвою его лютости и, между прочим, один европеец, путешественик, о смерти которого на его родине ничего известно не было. Это был Адольф Шлагинтвейт, один из трех знаменитых исследователей Индии. Прибыл он в Малую Бухарию из Тибета или Афганистана и выдавал себя за ученого. Тамошние жители, полагая, что этот английский муж в состоянии помочь им своими советами при осадных работах, весьма обрадовались прибытию ференга. Его привели к деспоту-властелину, который, к несчастью, был тогда в припадке сумасшествия от хашиша, и свидание вождя с путешественником закончилось трагически. Тиран спросил у последнего его документы, и когда он ответил, что может вручить их лишь коканд-

скому хану, то ему немедленно было приказано отрубить голову.

Я говорю себе: вот к чему приводит заносчивость и упрямство, но все равно продолжаю сидеть сиднем в ауле невесты, теперь уже жены. Значит, причина в ином.

Дух хана Абулая, поддержи меня за подмышки!

Имея такого родственника на том свете, не мне отчаиваться. Что мне ваши игрища!

Однако я увлекся. Прощай, мой читатель. Не думаю, что ты стал поклонником моего литературного таланта, но спутником — да. Но вот и я покидаю тебя. Бог знает какие дороги тебе ещё предстоят. Позволь же на правах старого знакомого дать один совет: если судьба поставит тебя перед крутым выбором пути, загляни в колодец времени и ты увидишь...

СОДЕРЖАНИЕ

ШАХИМАРДЕН

Записки корреспондента «Санкт-Петербургских ведомостей»

Редактор А. Швыдко
Художник Л. Тетенко
Художественный редактор Ж. Касымханов
Технический редактор Н. Сайфуллина
Корректор Ш. Мукажанова

ИБ № 5292

Сдано в набор 8.02.91. Подписано в печать 2.01.92. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура Тип «Таймс». Высокая печать. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 8,7. Уч.изд. л. 9,12. Тираж 17 000 экз. Заказ № 2005. Свободная отпускная цена 6 р. 70 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» министерства печати и массовой информации Республики Казахстан, 480124, г. Алма-Ата, проспект Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Министерства печати и массовой информации Республики Казахстан, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина 93.

Шахимарден

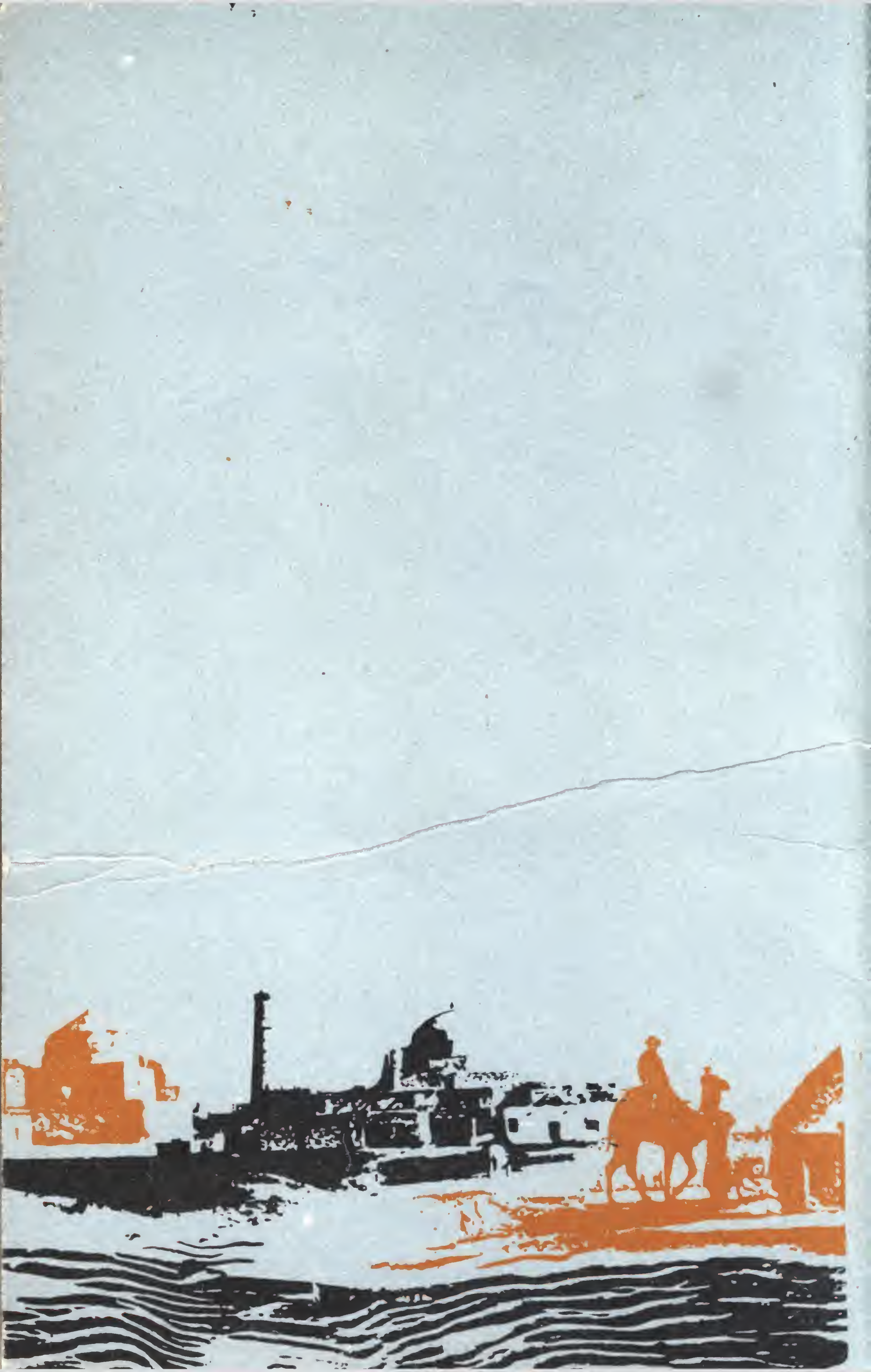
Ш31 Записки корреспондента «Санкт-Петербургских ведомостей»: (Сюжеты для романа).— Алма-Ата: Жазушы, 1992.— 160 с.

ISBN 5-605-01230-4

Книга написана от лица прожившего короткую, но яркую жизнь, путешественника и ученого середины XIX века. Ее составили несколько отдельных повествований, решенных в различных жанрах — от исторического до романтико-поэтического. Но в каждом из поведанных автором рассказов в центре внимания остается человек. Это и героические личности прошлого, и авантюристы, и воскресшие из легенд и сказок жертвы несчастной любви.

В данной книге широко использованы материалы творческого и эпистолярного наследия Ч. Валиханова.

Ш $\frac{4702010201-046}{402(05)-92}$ 87—91




ШАХИМАРДЕН